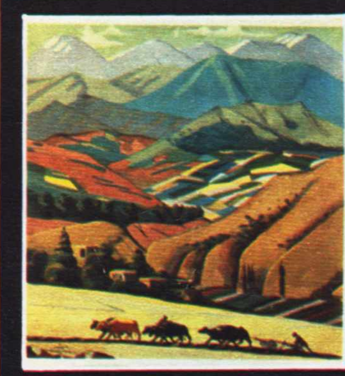
ISSN 0131—0097

ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА

№ 21 МАЙ 1989



М. САРЬЯН: ФОРМУЛА МИРА

БОЛЬ СОВЕСТИ

ВДОГОНКУ ЗА ПРОГРЕССОМ

ПОМОГИТЕ ВСТАТЬ НА НОГИ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 21 (3226)

20—27 МАЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Снимок сделан в санатории «Русь», где лечатся воины-интернационалисты. (См. в номере материал «Помогите встать на ноги».)

Фото Игоря ГАВРИЛОВА

Оформление А. А. КОВАЛЕВА при участии Т. А. НОВРУЗОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп.,
на полгода — 10 руб. 38 коп.,
на квартал — 5 руб. 19 коп.

Сдано в набор 26.04.89. Подписано к печати 16.05.89. А 04441. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 6,3. Усл. кр.-отт. 14,35. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 3 350 000 экз. Заказ № 509. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-59; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Секретариат — 250-46-98; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (международный) (095) 943-00-70
Телетайп (внутрисоюзный) 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

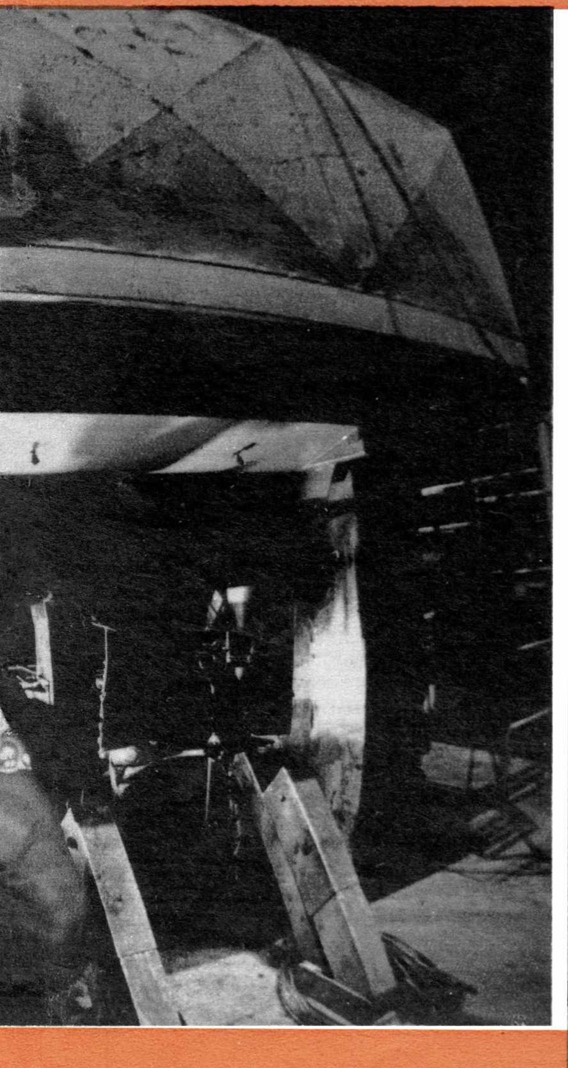
ТЕСТ НА С

Помните, что сказал классик про главную достопримечательность города NN в тот момент, когда туда въезжал Чичиков? «Город никак не уступал другим...»

Еще лет пять назад такое определение годилось бы и для Жлобина — обычного маленького райцентра белорусской глубинки. А сегодня здесь на улицах запросто можно услышать немецкий и итальянский говор, увидеть «мерседесы» и «фиаты» на проезжей части...

Пять лет я наблюдаю за всем происходящим в Жлобине — с того момента как австрийская фирма «Фёст-Альпине» вместе с подрядчиками из Италии и других европейских стран заложила в этом райцентре фундамент Белорусского металлургического завода (БМЗ).

ОВМЕСТИМОСТЬ



Виктор ЖУК,
Марк ШТЕЙНБОК
(фото)

КАПИТАЛИСТЫ В НАШЕМ ЗАХОЛУСТЬЕ

встрийцы высадились на свой «плацдарм» на юго-западной окраине Жлобина сразу, как только был заключен контракт. И стали строить.

— А проект? — изумились наши наблюдатели, когда увидели у «фирмачей» лишь три тощие папки с принципиальными схемами.

— Проект будем делать одновременно со строительством,— ответили те.

Тут есть чему удивляться. Ведь по заведенному у нас порядку подрядчик начинает строить, когда специализированным институтом разработан и согласован в многочисленных инстанциях детальный проект. На это требуется 2—3 года. А документация разбухает так, что не влезает и в три комнаты.

Интересно, что заводы, аналогичные жлобинскому, мы стали строить своими силами и по собственной технологии в молдавском городе Рыбнице и в Комсомольске-на-Амуре. Сразу же четко выявились два стиля работы. Сравнения, увы, не в нашу пользу. Возьмем лишь несколько цифр и фактов.

Объем зданий в Рыбнице оказался вдвое, а в Комсомольске даже втрое большим, чем у австрийцев в Жлобине.

Мы цехи сначала проектировали, а потом уже начиняли техникой, ни строители, ни будущие рабочие завода вообще не могли влиять на составление проекта.

В «Фёст-Альпине», как и в других западных проектно-строительных фирмах, все дело — в одних руках. И обе руки — проектировщика и строителя — работают параллельно. Чертежи подчас составлялись в Жлобине рядом с рабочими. При этом на ватманских листах прорисовывались абрисы будущего оборудования. Фирма точно знала его размеры.

Фирма привыкла иметь дело с землей, за которую надо платить, наши же не ставили землю ни во что. Поэтому строители в Молдавии и на Дальнем Востоке отхватили себе площадь вдвое большую — по 110 гектаров. Да еще какой земли! В Рыбнице плодородный слой до двух метров толщиной! Почва эта теперь потеряна безвозвратно. А иностранцы хоть и строили на бывшем пустыре, весь верхний пласт аккуратно срезали. Теперь на этой почве у заводских цехов сочно зеленеют газоны и цветут розы.

И ведомственной разобщенности, срывов поставок, из-за которых лихорадило стройки в Рыбнице и Комсомольске, в Жлобине не случалось. Тут царил четкий календарный график, хотя многие грузы доставлялись многокилометровым путем через несколько государственных границ.

Однажды на обочине шоссе, что ведет из Гомеля, я увидел западногерманский трейлер. Его водитель беспомощно размахивал дорожной картой. Когда он узнал, что проскочил поворот на Жлобин, страшно расстроился: опоздает часа на два... Вот почему фирма обходилась почти без складов. Многие грузы поступали «с колес» и подавались прямо на рабочие места.

Производственная дисциплина у австрийцев железная: ни на йоту от контракта.

Один из сотрудников «Фёст-Альпине», что следит за качеством, дружил с прорабом югославской фирмы «Комграп», которая ведет в Жлобине бетонные работы. Вот и накануне их видели за одним столиком в ресторане, а наутро австриец обнаружил, что колонна, возведенная на югославском участке, отклоняется от проекта на 4 сантиметра. Колонну он сразу приказал сломать. А прораб и несколько бетонщиков были уволены. Дружба дружбой, но при расчете с них удержали стоимость переделки брака.

Рабочие фирмы обеспечены первоклассным оборудованием, не в пример нашим. В руках монтажника вместо дешевых шлямбура и молотка — дорогая вибрордрель: четыре секунды — и дырка в стене.

Подъемные краны стоят густым лесом, и нет недосягаемых их стрелам «мертвых зон». У каждой бригады — это 5—10 человек во главе с бригадиром — свой микроавтобус. На нем оперативно подвозятся запасные детали в чертежи, на этой же машине ездят обедать. Причем за руль садится кто-то из рабочих бригады. Я не приметил, чтобы кто из строителей-иностранцев «перекуривал»...

В кабине у машиниста экскаватора из фирмы «Холачера» Антона Корпера я обратил внимание на некий странный прибор. Работомер, как назвал его хозяин, включается одновременно с двигателем экскаватора и фиксирует все операции машиниста. В конце смены из прибора вынимают перфоленту и отправляют на обработку в компьютер...

И тут я опять сравню объемы земляных работ на «экспериментальных» стройках. Подсчеты — в тысячах кубометров: в Жлобине — 1300, в Комсомольске — 8500, а в Рыбнице — 9160. Не берусь утверждать, но не исключено, что где-то оплачены и те «кубы», в которые даже лопатой не ткнули. Механизм, что делает приписки невозможными, нам бы, конечно, не помешал. Один работомер у «фирмачей» выпросили. И, чтоб внедрить, отправили на КамАЗ, где прибор сразу исчез. В оправдание на заводе сказали: все равно бы водители его разломали...

А вот как учитывается работа служащих. Недавно шеф-инженер (так называют директора стройплощадки) Хельмут Баумгартнер опоздал на работу минут на 15. Его задержали по дороге и тоже по делу. Но это время не будет ему оплачено. Как и все сотрудники дирекции, шеф имеет личную карточку, на которой компостер в офисе отбивает время прихода и ухода. Когда наши специалисты сказали Баумгартнеру, что уж он-то мог бы и не отмечаться, ведь его рабочий день, по сути, ненормированный, тот ответил: «Не сделаю я — не сделают и остальные».

Пунктуальным австрийцам надоело, что сотрудники нашей дирекции частенько опаздывают, так как подъезжают на попутных грузовиках. Фирма переправила в Жлобин пять легковых «опелей», которые предложила взять бесплатно на время строительства.

30 управленцев в «Фёст-Альпине», и каждый может сам сесть за руль. А не было бы служебных машин, разве успевали бы они координировать работу разных фирм, решать уйму организационных и технических вопросов, вести учет исполнения заданий и контролировать качество, оформлять документы на въезд и выезд?.. Кстати, немалым подспорьем служит и компьютер с отдельным «входом» для каждого сотрудника дирекции.

Но продолжим сравнения.

Накануне ввода первой очереди завода в Жлобине из Москвы приехал уполномоченный Госстроя. И испугался: завод не пустят. Не видно темпов ударной стройки... Позже, перед вводом второй очереди, свидетелем такого же редкостного в строительстве зрелища стал и я. По цехам ходили прогулочным шагом редкие рабочие. «Пик» работ миновал — он пришелся на середину пути. А на финише ни намека на аврал. Раз в неделю, как обычно, спокойная планерка, где согласовывались действия субподрядчиков.

Общее количество персонала фирмы оставалось прежним — 1963 человека. Но состав специалистов обновился больше чем наполовину. Даже директора-строителя сменил инженер-металлург, когда началась наладка техники и одновременно обучение работе с ней наших стажеров.

По условиям эксперимента все три завода должны были вводиться одновременно. Строго по графику БМЗ стал выплавлять металл запланированного ассортимента. Иначе было в Рыбнице. Перед пуском на заводе почти каждый день заседал штаб, который поочередно возглавляли первый заместитель Председателя Совмина и второй секретарь ЦК Компартии Молдавии. На штурм шли одновременно 6 тысяч человек. В Комсомольске события развивались по такому же сценарию. На пуске был занят 6421 человек. Результат? Оба наших завода металла не давали еще целый год.

«ХАП-СТОПИНГ»

По правилам фирмы объект сдается «под ключ» не после «навешивания дверей» — выполнения монтажных работ, а когда обеспечено производство продукции.

По техническим условиям, принятым в «Фёст-Альпине», первый год завод должен работать вполсилы: специалисты фирмы доводят до толка оборудование и его программное обеспечение.

На нашу заводу уже был спущен план, у которого только название новое: госзаказ. А по существу это госприказ. Да еще какой — на всю железку! Аркан госзаказа охватил производственную базу завода и держит его за горло так же плотно, как раньше клещи плана. Так что даже слова из нового Закона о предприятии про свободные контракты со смежниками, про самостоятельный выход на рынок, и на международный тоже, в стенах БМЗ выговариваются с трудом: в горле застревают. Руководители завода пытались возразить. Из Минчермета их одернули:

— Вы людей не расхолаживайте. Небось хотите спокойно жить на импортном оборудовании?!

Инженеры из Австрии и Западной Германии не верили своим ушам:

— Какой план? Если вы имеете в виду прибыль, то она будет большей после нормальной обкатки.

Этих непонятливых чудаков, что продолжали копаться у станков, наши рабочие подчас просто прогоняли. И гнали план. Зарубежные «спецы» прощались словами, смысл которых дошел до хозяев не сразу: рановато вам иметь такой завод... Фирма же мгновенно сделала свой вывод: на наладке техники можно... сэкономить. Что, по мнению главного инженера БМЗ Владимира Чернова, отчасти и произошло на второй очереди завода, где производится металлокорд — латунированная проволока для автомобильных шин. Уровень готовности электроники и компьютерных программ оказался ниже прежнего.

Но вернемся в цехи первой очереди, где деликатную заграничную технику с первого дня эксплуатируют, что называется, с закрытыми глазами: без соблюдения многих требований технологии и учета сроков профилактического ремонта, а следовательно, не заглядывая в перспективу. Только бы «выполнить и перевыполнить».

Вот проволочный блок, проектная производительность — 100 метров в секунду. Когда его налаживали австрийцы, наши рабочие — из тех, что с рационализаторской сметкой,— поинтересовались:

— А больше можно?

— В принципе да.

Когда иностранцы ушли, агрегат перестроили на работу «с ускорением»: стали выжимать 105 метров проволоки. Через год блок остановился из-за неполадок. Вызвали специалистов фирмы. Те обследовали основные узлы и схватились за головы:

— Вы губите оборудование. Да у этой машины, как и у автомобиля, есть предельная скорость. У нас рассчитан оптимальный режим, без всякого «русского гака»...

Кстати, потом подсчитали реальную производительность блока. И выяснилось, что никакого выигрыша работа по принципу «бежим-стоим» не дала. Наоборот. Сиюминутная выгода обернулась убытками, которых можно было избежать, если б работали ровно, по грамотному графику.

Метод хозяйствования, который иностранцы увидели в Жлобине, они окрестили «русским хап-стопингом». Что означает: урвал вершки и побежал дальше. Его последствия сказались очень скоро. Одна из двух электропечей пришла в плачевное состояние. Начались простои. Сталевары потеряли в зарплате рублей по 80. И цех враз остался без десятой части своих работников. Одни перебежали в соседние цехи, другие, что успели получить квартиры, ушли совсем. У многих же, кто приехал на «завод будущего», пошатнулась уверенность в перспективе.

Наконец «родственники» БМЗ заработали и появилась возможность сделать последние сравнения. Вопреки всем нашим усилиям нарушить технологию стали завод в Жлобине дает на 7 процентов больше. За время строительства — два с лишним года — фирма усовершенствовала технологию. Импортные печи потребляют вдвое меньше природного газа и кислорода. Меньше энергии расходуется в зимнее время: в теплосеть отводятся горячие газы из печей. Соблюдены и мировые выбросы экологические стандарты. Вредные выбросы очищаются на 98 процентов. В Рыбнице и Комсомольске — на 86. Свежей воды закрытому оборотному циклу БМЗ требуется втрое меньше.

Несравним комфорт в цехах. Прежде всего в Жлобине тихо. Вентиляторы, насосы, электродвигатели — в герметических кожухах. Наконец, БМЗ красивый. А мы уже разучились так называть производство. Как будто и не существует промышленной архитектуры.

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО

По замыслу покупался не просто современный завод, но и технология, чтоб подтянуть до уровня БМЗ все родственные предприятия. Одновременно собирались освоить для них собственное, отечественное производство запасных частей: ведь понадобятся они уже не для одного завода, а для целой отрасли. Поэтому специальная группа наших проектировщиков следила, чтобы в Жлобин привезли только оригинальную иностранную технику. О том, что БМЗ не имеет аналогов, с гордостью говорилось с обеих сторон — нашей и зарубежной — на пусковых митингах.

Когда Жлобинский завод оказался на грани полной остановки — не было запчастей для основных агрегатов, еще не все осознали, что происходит. Пожимали плечами даже представители «Фёст-Альпине». Ведь что делают они в таком случае дома? Снимают телефонную трубку и дают заказ другой фирме, с которой заключен контракт на обслуживание. И ремонтники заменяют то, что износилось.

Но откуда взяться такой фирме в Жлобине? Нет ее и во всей нашей стране. Ну, положим, ремонтников можно найти среди своих. А вот где взять запчасти? Кое-что фирма поставляет по контракту в первые два года работы, готова поставлять и впредь. Но за отдельную плату. Ведь новых деталей уже нужно ежегодно на три миллиона рублей. И платить надо валютой, которой у БМЗ нет. Пока металл отсюда экспортируется только в соцстраны. Валютные же расходы на содержание «инородца» Минчерметом не запланированы... Так завод встал перед необходимостью не только плавить сталь и вести текущий ремонт. Нужно на бегу, без остановок, создавать для себя оборудование, аналогичное тому, которое десятками лет разрабатывали и совершенствовали специализированные фирмы Европы.

Вот почему на шею металлургам пришлось посадить проектировщиков и ремонтно-механические службы: это 1300 человек вместо 300 по «фирменному» штату. Кроме весомой части фонда зарплаты, завод поступился несколькими красивыми газонами, на которых выросли дополнительные корпуса. В этих мастерских копируют импортные детали. В кустарных условиях, заново, повторяют то, что за границей шутя штампуют высокопроизводительные машины...

Далеко не все завод может сделать сам. Надо договариваться с другими предприятиями. А тиражи деталей крохотные — десятки экземпляров. Для производителя — сплошные убытки. Легко представить, как яростно отбиваются от этих заказов. Правда, теперь производство аналогов для БМЗ вменяется в обязанность сразу 14 министерствам страны. Но это на бумаге. На деле завод из провинциальной глубинки вступил в бесконечные поединки со столичными инстанциями, у которых свои заботы. И если, пусть со скрипом, заказы все ж принимаются, то повлиять на сроки их выполнения БМЗ уже не в силах. Бывает, пока ждут замену крохотному подшипнику, простаивает или выходит из строя целый агрегат.

...Скупой платит дважды, а ленивый ходит дважды.

ТРУДНОСТИ РОСТА?

Скупой платит дважды... Эту пословицу я вспоминал здесь частенько.

По контракту с фирмой жилое строительство вели наши рабочие. Были заранее составлены сметы, разработаны проекты и графики ввода жилья. Пять лет спустя я сдувал с этих графиков архивную пыль вместе с председателем Жлобинского горисполкома Влади-

миром Ерофеевым. Он не скрывал раздражения...

Жилья сегодня ждут 1200 работников первой очереди. Прибыло еще 2 тысячи человек на вторую. Началось строительство третьей... Кто будет на ней работать?

Квалифицированные специалисты, которые нужны современному заводу, в Жлобин ехать не хотят. Местные руководители в отчаянии. Хотя, было время, они надеялись, что БМЗ даст мощный толчок развитию города. А что получилось? По специализации Жлобинский район по-прежнему считается сельскохозяйственным. И спрос с них за «мясо-молоко», а не за «хлеб промышленности», который металлургический завод поставляет и для Белоруссии, и в союзные республики, и на экспорт.

Возможно, положение было бы не таким мрачным, если бы заказчик — Министерство черной металлургии — исхитрился и «посадил» завод в черте крупного города. Но здесь райцентр с его ничтожным жилфондом и недоразвитой сферой обслуживания.

По темпам развития производительных сил Жлобин опережает сегодня все небольшие города республики. Только население ежегодно увеличивается на 5 тысяч человек. А что в области социальной? Первыми в общегородской очереди на жилье те, кто стал на нее 20 лет назад. Плата за частный угол — по столичным меркам. А жены восьмисот работников завода сидят дома: для их детей нет мест в яслях и садах. В школах города, которые поближе к району металлургов, вынуждены ввести третью смену. Не хватает пунктов бытового обслуживания, магазинов. На полках часто нет нужного товара. А цены на рынке подскочили вдвое...

Сбои в механизме жизни отмечаешь сразу, как сюда попадешь. На третьеразрядной гостинице красуется заграничное слово «Hotel», а в номере... нет воды. Нет ее в этот момент в целом районе города. Старые водозаборы не справляются, новые не строятся.

Получается драматический парадокс: в городе построили промышленное предприятие по последнему слову техники. А теперь ему не рады. И нервничает не один председатель горисполкома.

Кстати, когда в «Фёст-Альпине» узнали, что жилищная программа нашим строителям не по зубам, представители фирмы пришли в дирекцию завода. Спросили:

— А деньги у вас есть?

Стоило кивнуть в ответ, как вопрос сразу обернулся предложением:

— Мы одновременно строим вам тысячу квартир в год. Без проблем. Развернули рекламный проспект: целый жилой городок, а по соседству — подсобное хозяйство, способное обеспечить продуктами всех работников БМЗ.

Субподрядная югославская фирма «Комграп» была готова — на компромисс: согласна строить на компенсационной основе, потом рассчитаетесь металлопрокатом. А можем и вместе: ваши строители ставят «коробку», мы ведем отделку... Эта идея долго согласовывалась на разных уровнях. Но принята не была. Об одном из доводов «против» сообщил мне секретарь парткома БМЗ Анатолий Бурчанов: да кто же захочет идти в наши квартиры, если будут «импортные»?! Передерутся между собой рабочие...

Дошло ли бы дело до драки, не знаю. А вот то, что строят жилье в Жлобине плохо, неряшливо — это факт. Особенно понуро выглядят панельные «пещеры» на фоне промышленных корпусов конца XX века. Но выбирать не из чего...

В этом городе у меня появилось ощущение, что я чего-то не понимаю. В трудное для нашей страны время затрачен миллиард с лишним золотых рублей с учетом второй очереди завода на самое современное производство. А фонды эти не дают полной, на мировом уровне, отдачи, потому что на задворках — сфера социальная. В чем же дело? Сказывается привычка к «долгострою»? Экономим? Но ведь все равно придется потом все необходимое построить. И чем позже — тем больше будут потери: экономические, нравственные...

КТО ВИНОВАТ?

Я спросил у главного инженера о производительности труда на БМЗ. Рассчитывал на скорый ответ, ведь этот показатель — контрактный. А Владимир Чернов молчал... Нет, конечно, металла завод дает не меньше. Но производительность — это еще и затраты. Готовый «продукт» надо делить на всех работников. На БМЗ же их намного больше, чем на подобном заводе в Австрии. И сверх фирменного штата не только проектировщики и ремонтники.

Как я уж говорил, город не в состоянии обеспечить заводчан жильем и объектами соцкультбыта, поэтому на БМЗ пришлось завести «своих» строителей. Работают они хозспособом: достают стройматериалы и механизмы правдами и неправдами. Чаще натуральным обменом за свой металл.

Местное руководство постановило забирать на сельхозработы в будни 10 процентов работников БМЗ, а по выходным — все 30. Это значит, что около 300 литейщиков, вальцовщиков и прочих квалифицированных металлургов постоянно кочуют по полям района. А надо еще заводить свое подсобное хозяйство, чтоб сполна обеспечить рабочих продуктами. Кроме этого, в заводском штате «свои» медики и воспитатели детских садов. Собираются завести «свой» персонал в столовых: от «чужого» общепита трудно добиться поворотливости и вкусной еды... В общем, если делать все, что требует обстановка в Жлобине, тем составом работников, который скрупулезно разработан фирмой, основное производство пришлось бы остановить.

С учетом армии «лишних людей», что размещается лагерем вокруг общезаводского котла, производительность труда БМЗ только в 1,26 раза больше, чем свояка-соотечественника в Рыбнице. Хотя предполагалась производительность раза в три большая, чем в среднем по отрасли... Что же получилось? Появилось предприятие, которому на роду написано стать краеугольным камнем для внедрения технологии конца XX века. Но «тектонического» сдвига не произошло. А само «инородное тело» оказалось в волнах нашей экономической стихии. И вот накатываются на него вал за валом да малопомалу обкатывают, обезличивают, превращают в заурядную «гальку», каких много на нашем «берегу». И сносит, сносит «камешек» вниз по течению...

И где тут найдешь виноватого, чью злую волю выявишь, если и сегодня в условиях реформы дирекция БМЗ не может самостоятельно ввести даже оплату, которая учитывала бы специфику работы на этом нетипичном предприятии. Надеялись на пересмотр тарифов, что приняты в системе Минчермета еще в довоенные времена. Недавно тарифы пересмотрели. И что ж? В новом циркуляре расчет на средний уровень отрасли, где «голова» — сталевар. Соответственно и заработок ему — около 500 рублей. Главному инженеру — только 400. А тем специалистам, на которых БМЗ действительно держится — программистам компьютеров, механикам по автоматике, электрикам,— еще вдвое меньше.

«Ячейки» новой тарифной сетки «связаны» так примитивно, что, по сути, не касаются квалификации работников. Это особенно заметно в сравнении. Скажем, приезжал в Жлобин задавать программное обеспечение прокатному стану инженер фирмы «Сименс» Петер Фетерсон. А программист БМЗ Владимир Мачулин за ним ошибки исправлял. Петер его так зауважал, что здороваться начал издалека. Но зарабатывал Владимир в месяц ровно

столько, сколько его коллега за один день.

Заведенка, которая больше стимулирует «бегать и потеть», чем «шевелить извилиной», толкает БМЗ в тупик. Ради чего 10 лет учиться на инженера-программиста, если сталеваром можно стать за 2—3 года? И зарабатывать больше. Да и вообще, неужто свет клином на заводе сошелся? Вон кооператоры в Жлобине по 700 рублей заколачивают...

И все ж не надо кивать только на «верхи». И «низы» не святые. Видел я на заводе немало суеты, неразберихи, бездарной траты времени... А все это так называемые непроизводительные затраты, которые теперь напрямую связаны с фондом зарплаты.

Прежде всего замечаешь, что на БМЗ нарушается система оперативных связей, отработанная фирмой. В прокатном цехе второй очереди я услышал, как свистел мастер-механик Владимир Соловьев. Ну прямо как былинный Соловей-Разбойник. Только тут надо было не врага свалить, а кран подвинуть. Крановщик — под крышей цеха, за полсотни метров. Поэтому у него в кабине рация, по которой и должен был дать команду Соловьев. Но нет рации у мастера... И если до крановщика еще можно досвиститься, то как связаться со службами гидросистемы и микропроцессоров, которые тут — под землей, в подвалах?! Нужна постоянная связь и с пультом управления, с машинным залом... Беготня, а не работа.

Из Австрии, конечно, все необходимые рации доставили. Но до многих мастеров они не дошли. Очень уж понравились эти «фирменные» вещицы заводским управленцам: удобно переговариваться между кабинетами...

Вспоминаю, как в заводской столовой зашел я помыть руки. И растерялся: в умывальнике с маркой «Сименс»... не было кранов. Первое, что пришло в голову: знаменитая фирма намудрила. Не иначе тут фотоэлемент: поднесешь руки — вода и потечет. Не потекла. Конструкция ж, как оказалось, элементарная. Но очень уж красивые были маховички кранов. Вот и скрутили их для домашнего пользования. А единым махом и дверные ручки, и цепочки от унитазов...

Это не просто воровство — варварство. Его пытаются пресечь товарищескими «судами чести» и судами уголовными. Выносятся наказания. И довольно суровые. Хотя, на мой взгляд, что может быть страшнее и обиднее снисходительных ухмылок иностранцев по этому поводу?..

Есть соблазн списать эти издержки на бескультурье, несознательность, недостаток хозяйских чувств у некоторых рабочих. Что, кстати, и делают руководители БМЗ. Однако видится тут и связь с нереальным, гибельным планом, с тягомотным обеспечением аналогами, с зарплатами не по труду, с отнятыми рациями... Разве это не явления одного порядка? Точнее, беспорядка. Бесхозяйственности, в какофонии которой злополучные краны и ручки — своеобразное эхо «снизу» на отношение «сверху».

Хотя и культура, конечно, подводит. Был на заводе такой случай. На одной из печей заклинило заслонку. Плавка остановилась. Лучшие технологи не могли понять, в чем дело. Что же выяснилось? Все было до обидного просто. Рабочий, вчерашний тракторист, присел «перекурить» на... клавиши пульта электронного управления. Вот компьютер соответственно и «сыграл»...

Даже чудо техники не работает само по себе. И самая современная технология не более, чем костяк. Надо еще наладить соответствующие человеческие отношения в процессе производства. Успех зависит от руководителей и рабочих, которые должны быть готовы к работе по-новому. На новом производстве надо переплавить и тот «лом» — тот хлам, который лежит на пути, мешает двигаться дальше...

РАССТ

«Никого нельзя судить. Человек в горе и в унижении становится ребенком. Вспомни Вырубову, она врет по-детски... Вспомни, как по-детски посмотрел Протопопов... как виноватый мальчишка... Вспомни, как Воейков на вопрос, есть ли у него защитник... опять виновато, по-детски взглянул и сказал жалобно: «Да у меня никого нет». Сердце, обливайся слезами жалости ко всему, ко всему, и помни, что никого нельзя судить. ...Вспомни, как плакал на допросе Белецкий, что ему стыдно своих детей... Вспоминай еще — больше, больше, плачь больше, душа очистится». (А. Блок «Записные книжки», апрель — июнь 1917 года).

«Кто будет аплодировать королю, тот будет избит, кто будет ругать его, тот будет повешен» — так говорилось в дни Французской революции после казни короля.

Эдвард РАДЗИНСКИЙ

Тот дом на Вознесенском проспекте в Екатеринбурге. Цепь часовых и высокий двойной забор... В полуподвальной комнатке с решеткой на окне в ту ночь горел свет — лампочка под потолком. Туда, в эту комнату, в половине третьего пополуночи черноволосый мужчина с клинышком бородки ввел одиннадцать человек... Первым шел невысокий мужчина в гимнастерке и фуражке. Он нес мальчика в такой же гимнастерке и фуражке, за ними следовали немолодая дама и четыре молоденьких девушки в дорожных костюмах, высокая женщина с подушкой в руках и трое мужчин.

— Что же, и стула нет? Разве и сесть нельзя? — спросила немолодая дама, оглядывая совершенно пустую комнату.

Черноволосый с бородкой приказал принести два стула: на один усадили мальчика, на другой села дама. Мужчина в гимнастерке встал рядом с мальчиком, а остальные расположились вдоль стены, против входа в комнату.

На улице в полной тишине вдруг заработал мотор грузовика. И тогда в комнату вошли еще одиннадцать мужчин...

Черноволосый с бородкой имел при себе маузер и кольт, вошедшие одиннадцать были вооружены наганами.

Двенадцать человек выстроились напротив одиннадцати...

В половине третьего душной июльской ночью 17 июля заканчивалась жизнь человека, известного в русской истории под именем Николая Второго...

Человек с бородкой был Яков Михайлович Юровский, один из руководителей екатеринбургского ЧК и комендант Ипатьевского дома — «Дома особого назначения», как именовался он в бумагах.

Все, что случилось в ту ночь, которую он считал исторической, Я. М. Юровский изложил в памятной записке, которую составил через два года. Как считается — для знаменитого историка М. Н. Покровского. Впоследствии часть своих бумаг Юровский сдал в Музей Революции.

В 1927 году — в год десятилетия Октября — передал он в музей и два револьвера — маузер и кольт...

В 1940 году бумаги Юровского и оба револьвера были из музея изъяты.

Но рукописи не только не горят, они таинственно появляются, когда приходит их час. Я еще раз понял это, когда в Центральном архиве Октябрьской революции в одном из дел так называемого «Романовского фонда» увидел эти несколько страничек, напечатанных на машинке. С чьей-то правкой карандашом и вставками на полях тем же карандашом. Карандаш поблек и, видимо, впоследствии был старательно обведен чернилами: аккуратный, четкий почерк, знакомый почерк человека с бородкой (почерк Юровского остался на документах Ипатьевского дома).

Я и до этого читал описание той чудовищной ночи, но все они были «с того берега», все они были опубликованы врагами Октября. И вот передо мной лежит записка, составленная со слов Якова Михайловича Юровского, руководившего расстрелом последнего русского царя и его семьи...

Сколько было слухов о ней!

...Я давно пишу историю последнего русского царя Николая Александровича Романова. Начал ее в семидесятых. Но никак не могу, не смею закончить... Каждый раз, подходя к тому, что случилось той ночью в Екатеринбурге, останавливаюсь...

Все, что думаю о невозможной этой, нечеловеческой ночи, напишу в своей книге.

Так что пусть говорят документы.

Тоненькая папка в Центральном архиве Октябрьской революции — «Дело о семье бывшего царя Николая II».

Телеграмма: «ВЦИК Свердлову Пред. Совнаркома Ленину. Тридцатого апреля 11 часов я принял от комиссара Яковлева бывшего царя Николая Романова бывшую царицу Александру и дочь их Марию точка Все они помещены в особняк запятая охраняемый караулом точка Белобородов».

РЕЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

А. Белобородов. В 1918 году ему было 27 лет. Председатель Президиума Уральского областного Совета рабочих и солдатских депутатов. За три месяца до перевоза в Екатеринбург Романовых избран председателем Уральского Совета.

...И еще один документ в том же деле — «О семье бывшего царя Николая II»...

Его отделяют от первой телеграммы всего полтора месяца...

«Председателю Совнаркома тов. Ленину, председателю ВЦИК тов. Свердлову.

Из Екатеринбурга, у аппарата президиум обл. Совета рабоче-крестьянского правительства.

Ввиду приближения неприятеля к Екатеринбургу и раскрытия ЧК большого белогвардейского заговора имевшего целью похищение бывшего царя и его семьи точка документы в наших руках точка постановлению президиума областного совета в ночь на 16 [1] июля расстрелян Николай Романов точка семья его эвакуирована в надежное место По этому поводу нами выпускается следующее извещение ввиду приближения контрреволюционных банд красной столице Урала и возможности того запятая что коронованный палач избежит народного суда скобки раскрыт заговор белогвардейцев пытавшихся похитить его самого и его семью и найдены компрометирующие документы будут опубликованы скобки президиум областного совета исполняя волю революции постановил расстрелять бывшего царя Николая Романова запятая виновного в бесчисленных кровавых насилиях против русскаго народа в ночь на 16 июля 1918 года приговор этот приведен исполнение семья Романова содержавшаяся вместе с ним под стражей интересах охраны общественной безопасности эвакуированы из города Екатеринбурга точка Президиум облсовета точка просим ваших санкций редакции данного документа документы заговора высылаются срочно курьером Совнаркому и ЦИК извещение ожидаем у аппарата просим ответ экстренно ждем у аппарата...»

Мягко говоря, все неточно в этом знаменитом и много раз процитированном документе...

Начиная с даты расстрела. И продолжая его обстоятельствами. Уральский Совет предлагает здесь успокоительную ложь, объявленную вскоре всему миру: расстрелян один Николай, семья эвакуирована из города...

Вызывают подозрения и документы «большого белогвардейского заговора, раскрытого ЧК».

Они были вскоре пересланы в Москву и находятся в этом же деле.

Это письма за подписями «офицер», «один, который готов умереть за вас офицер русской армии», написанные по-французски. Приведем отрывок из последнего.

«...Мы группа офицеров русской армии, которая не потеряла совести, долга перед царем и отечеством своим. Мы вас не информируем насчет нас детально по причине, которую вы хорошо понимаете, но ваши друзья Д. и Г., которые уже спасены, нас знают. Час освобождения приближается и дни узурпаторов сочтены. Во всяком случае армии словаков приближаются все ближе и ближе к Екатеринбургу. Они в нескольких верстах от города... Не забывайте, что большевики в последний момент будут готовы на всяческие преступления. Момент настал, нужно действовать... Ждите свистка к полночи (к 12 ночи) — это и будет сигналом. Офицер».

В основе этого письма опять лежит ложь, призванная вызвать доверие у Николая и семьи к автору письма. «Д. и Г., которые уже спасены и нас знают»,— это князь Долгоруков и графиня Гендрикова, два ближайших человека из царской свиты, приехавшие с ними в ссылку в Тобольск и последовавшие за ними в Екатеринбург. Оба были сразу арестованы по прибытии в столицу Урала. И не только не были «уже спасены», как пишет автор письма, но Долгоруков к тому времени был расстрелян, а графиня Гендрикова вскоре была переведена в Пермь, где ее постигла та же участь...

Вряд ли эти письма писались доброжелателями царской семьи...

К сожалению, рамки статьи не позволяют нам подробно остановиться на этом заговоре, одна из целей которого, на мой взгляд, была — оправдать перед Москвой действия Уралсовета.

Упомянем лишь, что мотив «похищения» и «побега» многократно использовался для того, чтобы «покончить с Романовыми».

События тем временем развивались. 4 июля комендантом Ипатьевского дома назначается Юровский. В доме сменен весь внутренний караул: теперь там дежурят так называемые «латыши из ЧК» («латышами» в Екатеринбурге назывались не только латышские стрелки, но все немецкие и австрийские военнопленные, перешедшие на сторону Советской власти).

Одновременно 4 июля в Москву отправляется военный комиссар Уральской области Голощекин.

11 и 13 июля (28 и 30 июня по старому стилю) в дневнике бывшего царя сделаны две последние записи.

«28 июня, четверг. Утром, около 10.30, к открытому окну подошли трое рабочих, подняли тяжелую решетку и прикрепили ее снаружи рамы без предупреждения со стороны Ю <ровского>. Этот тип нам нравится все менее... Начал читать восьмой том Салтыкова.

30 июня, суббота. Алексей принял первую ванну после Тобольска. Колено его поправляется, но совершенно разогнуть его он не может. Погода теплая и приятная. Вестей извне никаких не имеем».

...А затем идут пустые страницы...

25 июля пал Екатеринбург: в город вошли Чехословацкий корпус и сибирские казачьи части — белочехи и белоказаки. Было образовано Временное правительство Урала — ведущую роль в нем играли эсеры, меньшевики, кадеты.

И хотя по городу были расклеены печатные объявления о расстреле царя, правительство весьма колебалось, назначая следствие, его волновало: «нет ли в таком следствии данных для реакционных начал и нет ли пищи для монархических заговоров?»

Так что первые два следователя вели дело весьма осторожно, и лишь третий — Н. А. Соколов, бывший следователь по особо важным делам Омского суда, повел дело решительно. Впоследствии он написал книгу о своем расследовании [2].

Внимание следствия сразу же привлекла полуподвальная комната с решеткой на окне...

В отличие от других замусоренных комнат брошенного Ипатьевского дома эта была тщательно вымыта — ни пылинки. По полу и вдоль карнизов были обнаружены тщательно замытые следы крови. На полу были видны пробоины — следы штыковых ударов и пуль. Видимо, здесь достреливали и добивали раненых. На восточной стене комнаты было множество следов пуль. Пули были рассеяны и по другим стенам. Очевидно, расстреливаемые метались...

Большинство пуль было от револьверов системы «наган», но были пули и от маузера и кольта...

Следователей поразила и надпись в этой комнате, сделанная на немецком, скорее всего кем-то из «латышей». Это была строчка из Гейне: «В эту самую ночь Валтасар был убит своими подданными»...

27 июля к следователю явился некий поручик Шереметьевский и показал, что, скрываясь от Советской власти, жил в деревне Коптяки. 17 июля несколько крестьян из этой деревни были задержаны красноармейцами, когда они шли в город пешком через лес мимо урочища «Четырех братьев». Им объяснили, что лес оцеплен, что там маневры, будут стрелять и ходить запрещено. Действительно, уже уходя домой, слышали они в лесу разрывы ручных гранат.

После ухода красных крестьяне тотчас вновь пошли в район урочища. Здесь они нашли следы двух кострищ — одного у старой, открытой шахты, а другого — на лесной дороге под березой. В старой шахте, на поверхности наполнявшей ее воды, плавали свежие ветки, палки, обгорелые головешки. Порывшись в кострищах, крестьяне нашли обгоревший изумрудный крест, бриллиант, военную пряжку детского размера, корсетные планшетки и много пуговиц и крючков. Тотчас сличили найденное крестьянами с вещами, обнаруженными в Ипатьевском доме: те же пряжечки, те же пуговицы, петли, крючки! После этого следствие предположило: трупы раздели и бросили в шахту.

Нашли и шахту. По дороге из деревни Коптяки Верх-Исетской волости, в шестнадцати верстах от Екатеринбурга в большом лесу расположен Исетский рудник — шахта в виде двух смежных колодцев. Выкачали воду из шахты. Открылось дно, промыли ил и нашли отрезанный палец, жемчужную серьгу, застежку для галстука и вставную челюсть (впоследствии в ней опознали челюсть доктора Боткина). Но тел не было...

Вскоре были арестованы бывший начальник охраны Ипатьевского дома П. Медведев и несколько стрелков охраны.

Вот содержание допросов, приведенных в книге Соколова: «Павел Спиридонов Медведев показал: «Вечером 16 июля я вступил в дежурство, и комендант Юровский в восьмом часу вечера приказал отобрать в команде и принести ему все револьверы системы наган у стоявших на постах и у некоторых других. Я отобрал револьверы — всего 12 штук, и принес их в канцелярию коменданта. Тогда Юровский сказал: «Сегодня придется всех расстрелять, предупреди команду, чтоб не тревожились, если услышат выстрелы». Я догадался, что Юровский говорит о расстреле царской семьи, живших при ней докторе и слугах, но не спросил, кем и как постановлено. Должен сказать, что мальчик поваренок с утра по распоряжению Юровского был переведен в дом Попова — в помещение караульной команды. Часам к десяти я предупредил команду, чтобы они не беспокоились, если услышат выстрелы. О том, что предстоит расстрел, я сказал Ивану Старкову. Часов в двенадцать ночи по-старому (в третьем часу по-новому), Юровский разбудил царскую семью. Объявил ли он, для чего их беспокоит и куда они должны пойти, не знаю... Приблизительно через час вся царская семья, доктор, служанка и двое слуг встали, умылись и оделись. Еще прежде, чем Юровский пошел будить царскую семью, в дом Ипатьева приехали из ЧК два члена. Один — Петр Ермаков (родом с Верх-Исетского завода, а другой неизвестный мне).

Часу во втором ночи вышли из своих комнат царь, царица, четыре царских дочери, доктор, повар и лакей. Наследника царь нес на руках. Государь и наследник одеты были в гимнастерки с фуражками на головах. Государыня и дочери в платьях без верхней одежды. Впереди шел государь с наследником. При мне не было ни слез, ни рыданий и никаких вопросов. Спусти-

Окончание см. на стр. 30.

---

[1] Так в документе.

[2] Соколов Н. А. «Убийство царской семьи». Берлин, 1925 г.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пройдя сквозь чистилище выборов, страна умножила свои надежду и страх. Надежду — потому что мы все больше верим в собственное право руководить страной и выдвигать людей для этого руководства. Но чем больше крепнет эта надежда, тем больше страха у тех, кто годами отождествлял себя с самой системой социализма и теперь угрозу своему положению в обществе воспринял как политическую трагедию. На последнем Пленуме ЦК это отчетливо ощущалось.

Избирательная кампания показала, что переживаемый нами кризис — не кризис перестройки. Это кризис веры в то, что перестройка может пройти легко, быстро и безболезненно.

Самое главное, как писала некая дама, не поступаться принципами. Перестройка уже перестала быть процессом, который — как многое в нашем прежнем житье-бытье — контролируется исключительно сверху. Признание того факта, что чудотворцев в стране нет, означает поворот к реалистическому мышлению.

На глазах у нас в процессе выборов проявил себя мощный и самоотверженный слой политически активного населения, который решающим образом во многих случаях повлиял на результат выборов, доказал свои силу и организованность в борьбе против административных редутов. Люди поддержали перестроечные процессы в обществе. Не растерять, не распугать, сохранить бы этих людей — они очень нужны перестройке!

Жизнь в мире мифов воспитала человека усталого, более склонного к грезам, чем к трезвому анализу; в течение десятков лет государство и его граждане были связаны взаимной подозрительностью и откровенно побаивались друг друга — пора с этим кончать, это одна из самых страшных расплат за недемократическое общество.

Стало общим местом утверждение о том, что в процессе перестройки мы учимся. Действительно — учимся и многому научились. Но опыт и знания приобрели также противники перемен. Если вчера они не могли поступиться палочными идеалами административной системы, то сегодня они защищаются, прижимая к груди новомодные скрижали со словами о демократии, гласности, социальной справедливости. Забавно, что при всей меняющейся стилистике доносов доносчики остаются теми же. Если их поймать на лжи, заученно произносят: «Ах, теперь же все точки зрения допустимы — у нас ведь плюрализм!» Только что я имел возможность насладиться воинственной неправдой, которую в дни выборов напечатала обо мне харьковская областная газета. Вполне на столичном уровне «Москвы», скажем, или «Молодой гвардии». «Ну что вы,— ласково улыбнулся мне в ответ один из начальников.— И такие мнения, значит, есть. Плюрализм!..»

Надлежит возрождать в советском обществе кодексы чести — той самой общечеловеческой категории, которую мы столько лет уродовали в угоду социальному эгоизму.

Мы платим по счетам, лежавшим на исторической полке со сталинских и даже с более давних времен. Настала пора обновления, но это и — время искупления, время расплаты. Обновляться на словах желают все (особенно лихорадочно сменить кожу стремятся те, кто погрешнее). Расплачиваться не желает никто.

Противники перестройки обрушиваются на нее то с патриотическими хоругвями, то с саперными лопатками наперевес, и мы должны быть всенародно этим обеспокоены, тем более что политический смысл таких событий очевиден. Тот самый, сконструированный еще в сталинскую эпоху послушный человек, что вопил от восторга по любому приказному поводу, все больше удаляется в анекдоты. С ним легко было начальству, но с ним мы и наворочали всего, что не можем разгрести поныне. Послушных людей в стране почти не осталось — ни среди сторонников, ни среди противников перемен. Все в открытую — так легче, но так и много труднее.

Мы сегодня узнаем цену настоящему слову. Слову-обещанию, слову-обвинению, слову-призыву; ни за что нельзя позволить, чтобы и на новом витке развития нашего общества вольготно себя почувствовали болтуны и клеветники.

Общество изменяется. Мы постигаем науку реализма. Пути назад нет. Выборы показали, что народ настроился на победу.

Виталий КОРОТИЧ,
народный депутат СССР

НАМ НУЖЕН БОЕВОЙ ПАРЛАМЕНТ ●
КТО ДИСКРЕДИТИРУЕТ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ? ●
БЕСПЛАТНО И БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО ●

■

В апрельском номере «Журналиста» в материале «Опровержение, или Бурная хроника времен застоя» впервые было рассказано о «деле сочинских детективов». О том, как в годы «правления» в наших краях Медунова людей преследовали за критику, за попытку вскрыть вопиющие безобразия, творящиеся в области.

От всех своих товарищей и от себя лично говорю спасибо авторам этой статьи. Я проходил по этому делу и был осужден Краснодарским краевым судом 15 января 1982 года к пяти годам лишения свободы и трем годам ссылки по печально известной 70-й статье УК РСФСР (агитация и пропаганда против советского государственного и общественного строя). Отсидел «от звонка до звонка» срок заключения, затем уже в ссылке был помилован. А 29 сентября 1988 года был окончательно оправдан. Реабилитирован полностью. Справедливость восторжествовала. Но печальный «опыт» моего дела и опубликованный недавно Указ Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления» и некоторые другие законодательные акты СССР» и появившиеся к нему комментарии в печати навели меня на серьезные размышления.

Особенно меня заинтересовала статья в «Правде» (16.4.89 г.) под заголовком «Защищая перестройку», где на вопросы журналиста отвечал член коллегии Прокуратуры СССР В. И. Андреев.

На вопрос в вышеупомянутом интервью, «не означает ли принятие нового Указа отступление от курса демократизации, не будут ли преследовать людей за убеждения?», Андреев В. И. отвечает: «Конечно, демократию надо уметь защищать, но Закон не должен применяться механически...»

Но ведь закон есть закон. И обвинения конкретному лицу должны предъявляться конкретно и четко. А формулировка «дискредитация», например, таковой не является. Представители правоохранительных органов могут трактовать это определение, согласуясь со своими принципами и широтой взглядов. В самом деле, взять мою историю и посмотреть, кто же на протяжении нескольких лет, когда я, невинный, сидел в «местах не столь отдаленных», дискредитировал Советскую власть? Я или Краснодарский краевой суд, необоснованно вынесший мне приговор? Я или многочисленные надзорные органы прокуратуры, в которые я обращался с просьбой разобраться? Обращался в большинстве случаев безрезультатно.

Кто дискредитирует наш общественный и государственный строй, издавая Указ «Об уголовной ответственности за государственные преступления» со столь расплывчатыми формулировками, которые могут сломать жизнь и судьбу не одному человеку. И еще, мне кажется, что вступать в силу подобные Указы должны лишь после того, когда будет создан в стране такой механизм надзора, который не позволил бы самым ухищренным нарушителям творить беззаконие. Такой гарантии сложившаяся практика нам не дает.

Думаю, что последнее слово в этом очень важном вопросе — за предстоящим Съездом народных депутатов СССР!

А. ЧУРГАНОВ
Сочи

■

Как стало известно из информации нашего местного агентства «Союзпечать», подписка на журнал «За рулем» на 1990 год производиться не будет, а весь тираж согласно распоряжению Министерства связи СССР поступит в розничную продажу.

Вот как связисты порадовали автомобилистов! Мало того, что в стране, где десятки миллионов водителей, всего один автомобильный журнал, так его сделали не только лимитированным, но и неподписным. Ссылка на недостаток бумаги и полиграфической базы именно для этого единственного в своем роде журнала просто смехотворна.

Каждый раз, выписывая журнал в прошлом, приходилось испытывать трудности, искать обходные пути. Но как бы то ни было, кто очень хотел, все-таки становился обладателем подписки, если не индивидуальной, то групповой. И такая форма подписки стала популярной не только по причине дефицита, но из-за дороговизны — тоненькая тетрадка «За рулем» стоит рубль. А что же будет теперь? То, что журнал, продающийся только в киосках «Союзпечати», станет предметом спекуляции, совершенно очевидно.

Ни для кого не секрет, что ежегодно на автомобильных дорогах нашей страны гибнут десятки тысяч людей, общий уровень водительской культуры оставляет желать лучшего. А ущерб, который наносят природе автомобили с неисправными двигателями? Общественность знает, с какими трудностями приходится сталкиваться ежедневно водителям—профессионалам и любителям: начиная с проблемы запчастей и кончая взаимоотношениями с ГАИ. И при этом обилии проблем отнимать у водителей единственного помощника — журнал «За рулем» — по меньшей мере безрассудство!

Необходимо пересмотреть и отменить это неверное решение. Не менее важно обязать ДОСААФ выпускать журнал в достаточном количестве согласно спросу населения. А если эта организация не в состоянии это сделать, передать журнал другому ведомству.

В. ПЛЮЩ,
ветеран Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил
Донецк

■

Хочу поделиться соображениями о вещах, о которых почему-то говорить не принято. И все-таки не кажется ли вам, что при всей важности Пленумов ЦК КПСС транслирование одних только выступлений руководителей страны по всем телеканалам — это не просто излишняя роскошь и трата драгоценного телевизионного времени, но это прежде всего — рецидив застойных лет?

Судите сами: идет Пленум, собрались политические и общественные деятели для того, чтобы сначала выслушать доклад, затем приступить к его обсуждению, принятию решений, мер и т. д. Но это их работа. А наша работа закончилась днем. Но тогда почему же нас всех без исключения заставляют по всем каналам телепрограмм смотреть и слушать одно и то же? Ведь текст подобных выступлений всегда печатается на следующий день в периодической печати.

Лично я предпочитаю доклад читать, а не слушать — больше возможности вдуматься, проанализировать сказанное. Считаю, что логичнее было бы транслировать подобные передачи только по первой программе — ведь она общесоюзная.

Ю. ЗОЛОТАРЕВ
Таллинн

■

Величайшим достижением социализма провозглашается «бесплатная высококвалифицированная медицинская помощь каждому гражданину страны». Что же представляет собой реальное воплощение данного постулата?

Не нужно долго думать, чтоб понять, что средства эти не могут взяться ниоткуда, кроме как из кармана налогоплательщика, и тут мы тоже не оригинальны. Беда в другом: оплата услуг здравоохранения в СССР полностью обезличена.

Может ли массовая медицинская помощь в рамках существующей системы здравоохранения быть высококвалифицированной в принципе? На мой взгляд, ответ однозначен — нет, не может! Из желанного клиента, из кормильца, больной превратился в надоедливого приживалу, который мешает медработнику спокойно высиживать рабочее время, получая за него пособие из недр все той же «бесплатной» системы. В самом деле, можно ли найти другую такую страну, в которой шофер больничного гаража официально получает в 2—3 раза больше, чем врач-ординатор (хотя бы и с красным дипломом), а зарплата молодого врача (120—130 р.) лишь ненамного превышает стоимость джинсовых брюк в магазине? Кооператив — это единственная реальная на сегодня для квалифицированного врача возможность повысить свои доходы до приемлемого уровня, получая деньги именно по труду.

На сегодняшний день подавляющее большинство больных несут в медицинский кооператив свои наличные, которые далеко не у всех в избытке. А ведь ни один кооператив не отказался бы, если за больного на его счет поступали безналичные вклады от профсоюзных, страховых, заводских и прочих касс. Такая оплата снова сделала бы медицинское обслуживание для данного пациента «бесплатным», но уже на совершенно иной, конкретной основе! Изобретать в этом вопросе велосипед опять-таки не стоит. Интересны действующие модели организации здравоохранения в ряде передовых стран Запада.

В Финляндии, например, государственной системой страхования на случай болезни охвачено все население страны. Пациентам компенсируется 60% расходов на оплату врачебных услуг, 75% расходов на диагностические исследования, 50% расходов на приобретение медикаментов (100% при ряде хронических заболеваний) и даже часть транспортных расходов, связанных с посещением медицинских учреждений. Здесь тоже средства в бюджет здравоохранения поступают за каждого конкретного больного. И финны обходятся вдвое меньшим, чем у нас, числом врачей по отношению к численности населения.

В нашем обществе в кассу лечебного учреждения деньги за лечение больного могут перечислять: Госстрах или вновь организованные специализированные страховые фирмы, профкомы предприятий и организаций по месту работы больного, организации государственного социального обеспечения, различные благотворительные фонды. А тот незримый налог, изымаемый у населения на нужды «бесплатного» здравоохранения, можно будет направить на повышение личных доходов людей.

Безусловно, организация подобной системы здравоохранения (а выше приведена, конечно, только очень грубая схема) невозможна без наличия динамичной рыночной экономики. Иначе хозяйственно самостоятельным медицинским организациям просто негде будет закупать лекарства, оборудование и стройматериалы. Но ведь к такой экономике и стремится наше общество, во имя этого и проводится перестройка!

А. РАБИНОВИЧ
Саратов

■

В газете «Советская культура» в октябре 1988 года появилось письмо В. Солоухина «Пора объясниться».

В письме утверждается, что я присутствовал на собрании в Союзе писателей, на котором исключался Пастернак, и был в числе «промолчавших».

Я тут же позвонил Солоухину и сказал ему, что в погроме Пастернака я не участвовал. Солоухин обещал при «ближайшей возможности» извиниться передо мной публично. Минуло более полугода, а Солоухин этой возможности так и не изыскал.

Я не стал бы придавать этому значения. Однако цитата из его письма с упоминанием моего имени стала мелькать в печати, в том числе и в «Огоньке».

Это вынуждает меня заявить следующее.

На собрании 31 октября 1958 года я не был: со 2 октября по 5 ноября проходил курс лечения в Чехословакии, в Карловых Варах. О собрании в Союзе писателей я узнал только после возвращения из Чехословакии в Москву. Впрочем, дела это не меняет: никогда, ни активно, ни пассивно, я не участвовал в исключении какого-либо писателя из членов Союза писателей СССР.

Анатолий РЫБАКОВ

■

Мы, члены религиозного общества мусульман г. Перми, начиная с 1956 года беспрерывно обращаемся в различные инстанции с просьбой вернуть нам построенную в 1901—1903 годах на средства прихожан соборную мечеть. Поскольку местные органы власти под разными предлогами, в том числе считая нашу просьбу незаконной, отказывают в ее удовлетворении, мы неоднократно обращались и в Президиум Верховного Совета СССР, и в Совет по делам религий при Совете Министров СССР. Однако все наши жалобы направляются на разрешение местных руководителей, которые с прежним упорством и упрямством, невзирая на законы и разъяснения по этому поводу, продолжают оставлять нашу просьбу без удовлетворения.

Даже после опубликования в 50-м номере журнала «Огонек» за 1988 год под заголовком «Закон и совесть» беседы писателя товарища Нежного с председателем Совета по делам религий при Совете Министров СССР тов. Харчевым К. М., который признал законность нашей просьбы, руководство обкома КПСС ответило нам отказом.

И это при условии, что в двух кварталах от мечети находится действующая православная церковь и, кроме того, в Перми имеются еще 2 действующие церкви. А нам не желают возвратить единственную на всю Пермь и область мечеть.

В августе сего года будет отмечаться юбилей мусульманства на Руси, которое мы желаем праздновать так же торжественно, как отмечалось 1000-летие принятия на Руси христианства, и хотим, чтобы к нам было проявлено такое же внимание и предоставлены такие возможности со стороны государства, какие предоставлялись православным. В частности, чтобы нам была возвращена наша соборная мечеть, в которой мы могли бы провести указанные торжества. Учитывая изложенное и упорное нежелание местных властей удовлетворить наше ходатайство, просим в соответствии со ст. 13 Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 20/01-1918 года «О свободе совести церковных и религиозных обществах» не направлять нашу настоящую жалобу на усмотрение местных руководителей, а передать нам мечеть.

По поручению общины:
Н. САХИБЗЯНОВ,
Р. ЗАГИДУЛЛИН,
М. ХАМАДЕЕВА

■

Недавно в Москве проходил второй слет солдатских матерей, организованный по инициативе Политуправления Московского военного округа.

В первый день слета гостей привезли в знаменитую Таманскую дивизию, где согласно заранее продуманной программе нам показали боевые тактические учения. Огонь, танки, грохот стрельбы, конечно, произвели неизгладимое впечатление на женщин, которые видели войну, к счастью, лишь на теле- и киноэкранах: одна смахнула слезу, другая зажала ладонями уши, третья перекрестилась: «Слава богу, что все это не на самом деле» ...После «спектакля» матерей быстро распределили по автобусам и увезли на обед, а потом на концерт.

Пресса и телевидение оперативно осветили это мероприятие. И я тоже, выполняя задание молодежной газеты, в которой работаю, подробно рассказала на ее страницах обо всем, что видела и слышала на слете.

Уже в день выхода моего материала в свет в редакции стали раздаваться возмущенные звонки читателей, с каждым последующим днем их количество возрастало. Звонили в основном военнослужащие. Они либо отказывались назвать себя, либо брали с меня слово не обнародовать их имена. Такое обещание дала я и офицеру Таманской дивизии, который сам пришел в редакцию и еще раз рассказал мне то, что я уже знала.

Во время вышеописанных учений произошел разрыв снаряда, повлекший за собой гибель нескольких солдат. Причем один из погибших за полчаса до трагедии встретился со своей матерью и получил из рук командира отпускной билет...

Мои попытки получить информацию из официальных военных источников отняли много времени и нервов, но по вполне понятным причинам успехом не увенчались. Кто-то из высокого военного начальства ссылался на свою неосведомленность, кто-то участливо-уклончиво советовал мне не волноваться и не лезть «не в свое дело».

Поэтому мне пришлось самой провести небольшое расследование. Вот что рассказал Владимир Ильич Диянов, водитель одного из автобусов, на которых матерей привезли в Таманскую дивизию.

— Своими глазами видел, как вблизи группы людей с лошадьми разорвался снаряд, видел двоих неподвижно лежавших солдат. Одна лошадь в агонии бросилась к автобусу, но рухнула в нескольких метрах от него. В моем «Икарусе», как и в некоторых других, взрывом выбило стекла. Сразу после того, как все это случилось, автоколонну отодвинули вперед, а на место происшествия помчались «скорые»...

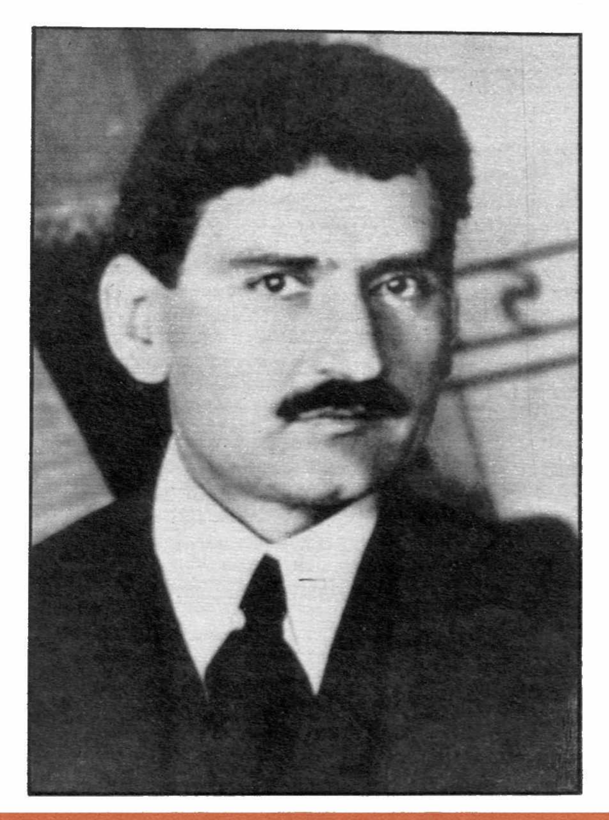
Я понимаю, что до тех пор, пока существует оружие, будут гибнуть люди. И не берусь предполагать, в результате чего произошел несчастный случай: в этом, надеюсь, детально разберется компетентная комиссия. Меня волнует другое.

На следующий день после трагедии слет солдатских матерей, как ни в чем не бывало, продолжился в Колонном зале Дома союзов с громкой музыкой, цветами, юмором и другими атрибутами безмятежного праздника.

От матерей, в любви и уважении к которым объяснялись два дня, бессовестно скрыли трагедию «чужих» сыновей, не говоря уже о том, что ее скрыли от аккредитованных на слете журналистов, никто даже не подумал скорректировать программу, почтить память погибших и публично выразить соболезнование их родным и близким. Больше того, недавно Центральное телевидение повторило восторженный репортаж с этого вечера.

И. МАМИЧЕВА,
журналист

Наш адрес:
101456, ГСП,
Бумажный проезд, 14.



МАРТИРОС СЕРГЕЕВИЧ САРЬЯН

1880—1972

Случилось так, что художник только в 1900 году, когда ему было 20 лет, впервые попал в Армению, а окончательно переехал туда в 1921-м, сразу же возглавив в молодой Советской республике движение новой армянской живописи. Рожденный в Нахичевани-на-Дону, долгие годы учившийся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, он связал свое творчество с московской живописной школой, многое взяв от нее и, в свою очередь, многое дав ей. Учителями Сарьяна были В. А. Серов и К. А. Коровин. Из их мастерской вышли первоклассные живописцы 1900—1910 годов — М. Ф. Ларионов, Р. Р. Фальк, И. И. Машков, П. В. Кузнецов, К. С. Петров-Водкин. Все они как бы разлетелись в разные стороны из общего гнезда, каждый заговорил на своем языке, многие стали родоначальниками целых художественных движений.

Сарьян вместе с Кузнецовым, Уткиным, Сапуновым, Судейкиным, Крымовым и другими молодыми мастерами — выходцами из Московского училища — оказался в орбите русского живописного символизма, к тому времени уже имевшего опыт Врубеля, Борисова-Мусатова и некоторых «мирискусников». Сарьян стал участником всех начинаний этого символистского движения «второй волны». Он экспонировал свои произведения на выставке «Алая роза», устроенной в Саратове Кузнецовым и Уткиным в 1904 году, затем стал одним из организаторов другой знаменитой выставки — «Голубая роза», состоявшейся в Москве в 1907 году и отметившей высшую точку в развитии этого важного направления в искусстве конца XIX — начала XX века. Затем — уже после 1910 года, который в истории русской художественной культуры, по общему признанию ее историков, знаменует конец русского символизма,— группа «Голубая роза» утратила самостоятельность: ее представители в большей своей части перекочевали в обновленный «Мир искусства», составив в нем «левое крыло». Но символизм не прошел для них бесследно, он остался навсегда существенным фактором их творчества и стал важной «составляющей» как раз в тот период, когда все эти мастера — и в их числе Сарьян — пережили свой наивысший расцвет. Это были 1910-е годы.

Много общих черт в творчестве Сарьяна и других «голуборозовцев». Но при этом Сарьян, где-то пересекаясь со своими коллегами, обретая себя, выявляет свою индивидуальность особенно быстро, раньше и последовательнее других. Не последнюю роль в процессе этого самоопределения играют национальные импульсы, интерес художника к прародине, к Востоку. Сарьян начинал самостоятельный творческий путь тогда, когда многие художники во всем мире обращали свои взоры на Восток, искали там необычную для европейца красоту, любуясь арабеской, причудливым узорочьем, мечтая о покое, беззаботной созерцательности, восточной неподвижности. Тяготение к Востоку особенно сильным было в 1900-е годы. Многие стремились уйти в этот фантастический мир от бурь и противоречий современной жизни.

Не ради этого искал свой Восток Мартирос Сарьян, много раз путешествуя по Закавказью, а затем совершая поездки 1910—1913 годов в Турцию, Египет, Персию. Ему был чужд надуманный ориентализм. Не экзотика далеких стран, а народная жизнь, красота быта, древние культуры, тысячелетиями пополнявшие свои кладовые, многокрасочная, а то и до удивления суровая природа — вот что привлекало Сарьяна. Сын Востока, по крови он как бы обретал вновь свою родную землю.

Макс Волошин, опубликовавший в 1913 году одну из первых глубоких статей о художнике, записал такие его слова:

«Я долго мечтал о Кавказе и Закавказье. И хотя мне приходилось бывать несколько раз на Северном Кавказе, но он меня особенно не пленял. Зато Средний Кавказ, а особенно Южный зачаровали меня; здесь я впервые увидел солнце и испытал зной. Караваны верблюдов с бубенцами, спускающиеся с гор, кочевники с загорелыми лицами, со стадами овец, коров, буйволов, лошадей, осликов, коз; базары, уличная жизнь пестрой толпы; мусульманские женщины, молчаливо скользящие в черных и розовых покрывалах, в фиолетовых шароварах, в деревянных башмаках, выглядывающие с плоских крыш желтых, квадратных домов; большие, темные миндалевидные глаза армянок — все это было то настоящее, о чем я грезил еще в детстве. Я почувствовал, что природа — мой дом, мое единственное утешение; что мой восторг перед ней иной, чем перед произведениями искусства: тот длится всего лишь несколько минут. Природа многоликая, многоцветная, выкованная крепкой, неведомой рукой — мой единственный учитель».

Путь Сарьяна к своим вершинам был, хотя и недолог, но отнюдь не прост. Начав с традиций реалистической живописи второй половины XIX века и выполнив ряд портретов, а затем и пейзажей, Сарьян под влиянием своих учителей сначала шел к импрессионизму, к свободной передаче натуры, а затем — в середине 1900-х годов — увлекся восточными сказочными мотивами. Восток Сарьяна начинался со сказки. В этих сказочных картинах, чаще всего выполненных акварелью, гуашью или темперой, присутствует элемент игры. Стихия Сарьяна — земная радость, пусть преображенная фантазией и мечтой. Он никогда не ищет приобщения природы к некоей стихии инобытия, не погружается в мир подсознательного, не поддается буйству, экстазу дионисийства, о котором так много говорили в те времена. Его фантазия вполне соразмерна с «обычным» сказочным миром. По пространству маленьких картин Сарьяна середины 1900-х годов бегают лани, серны и пантеры, летают причудливые птицы. Влюбленные застывают в долгом поцелуе на берегу небесно-изумрудного озера с далеким парусом на горизонте. На ветвях развесистого дерева висит клетка с заморской птицей. Сами названия — «Принцесса», «Сказка», «Озеро фей», «Сказка у дерева» — свидетельствуют о том, что сарьяновский Восток был поначалу изукрашен традиционно-орнаментальными узорами.

Однако в сказочности был первый отрыв художника от прежней иллюзорной системы изображения реального мира, открывавший путь к сарьяновской зрелости и к раскрытию его неповторимых качеств. Постепенно созревала новая система живописи. Художник шел от линейной орнаментальности к структурности, соединенной с декоративностью, к переложению света в цветовой эквивалент, к обновлению фактуры и красочного мазка. В конце 1900-х годов этот процесс завершился. Сарьян полностью обрел себя к 1910 году.

Одним из произведений, ведших художника к живописному синтезу, явился «Автопортрет» 1909 года. Сарьян изобразил свою голову на первом плане, сопоставив ее с фоном гор и неба, по которому летят прежние сказочные птицы. В самом этом сопоставлении, в сдвиге головы направо от центральной оси картинной плоскости, в неожиданном срезе фигуры (видны только голова и совсем малая часть корпуса), во фрагментарности пейзажа — во всем, кажется, заметно преобладание непосредственного ви́дения. Однако этот возврат к жизненным случайностям компенсирован декоративностью живописного строя картины. Как будто в ней сохраняется «голуборозовская» манера Сарьяна: мазки-линии, «дребезжащая» поверхность. Но на самом деле это не так. Живописная система здесь чревата самым скорым рождением нового сарьяновского декоративизма.

Картины конца 1900-х годов знаменуют собой выстраданный художником перелом. Большую роль в этом процессе играет новое понимание художником времени, воплощенного в живописном произведении. В «Автопортрете» фиксация моментального достигается сдвигом фигуры в сторону, нетрадиционным, казалось бы, случайным ее срезом. В «Бегущей собаке» (1909) композиционное равновесие оказывается под угрозой разрушения из-за стремительного бега животного, его «полета». Но обрамляющие композицию деревья возвращают этот полет назад. Собака словно повисает, как пришпиленная, к картинной поверхности. Ее фигура настолько выразительна, что превращается в своеобразную формулу стремительного бега.

В некоторых картинах 1910 года динамика нейтрализуется симметрией. Происходит закрепление мгновенного, художник обретает некую динамику-статику, которая открывает ему путь к созданию таких классических произведений, как «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Финиковая пальма. Египет» (1911), «Ночной пейзаж. Египет» (1911), «Идущая феллахская женщина» (1911), «Египетские маски» (1911) и многие другие.

В работах начала 1910-х годов внешнее действие все более замедляется, останавливается; вместе с тем нарастает острота восприятия, и ее источником становится художнический глаз, который способен сконцентрироваться на кратчайшем мгновении. Это мгновение останавливается; но оно перестает быть кратковременным, а обретает качество вечности. На грани мгновенного и вечного пребывают образы Сарьяна.

Картина «Улица. Полдень. Константинополь» располагается как раз в том месте эволюции художника, когда искомое оказывается найденным. Художник достигает большой убедительности в передаче конкретного состояния природы и города. Ощущение зноя, раскаленности стен домов и земли, наполненности жаром воздуха в опустошенном пространстве — это реальное ощу-

щение, сообщаемое зрителю. Люди, жмущиеся к стенам домов, тени, падающие почти вертикально на землю от фигур и предметов, словно насаженных на стрелы солнечных лучей, перспектива улицы, сужающейся острым треугольником к центру холста и передающей движение пространства по узкому коридору,— все это сюжетно-предметные средства, в использовании которых Сарьян проявляет необычайную остроту зрения. Благодаря этой остроте за полдневной ситуацией перед глазами зрителя встает быт, образ жизни, ритм восточного города.

И композиция картины, и ее цветовая система, в свою очередь, являются важнейшими средствами реализации этого жизненного ощущения. Создается иллюзия случайности взгляда, брошенного на реальный кусок мира, иллюзия кадра. Возможностью этой «первичной» выразительности художник пользуется в полной мере, но вовсе ею не ограничивается. За кадровостью вырисовывается совсем иной принцип — не только равновесия, но и полной симметрии частей, их почти абсолютной тождественности. Кадр оборачивается строгой структурой, геометрической формулой.

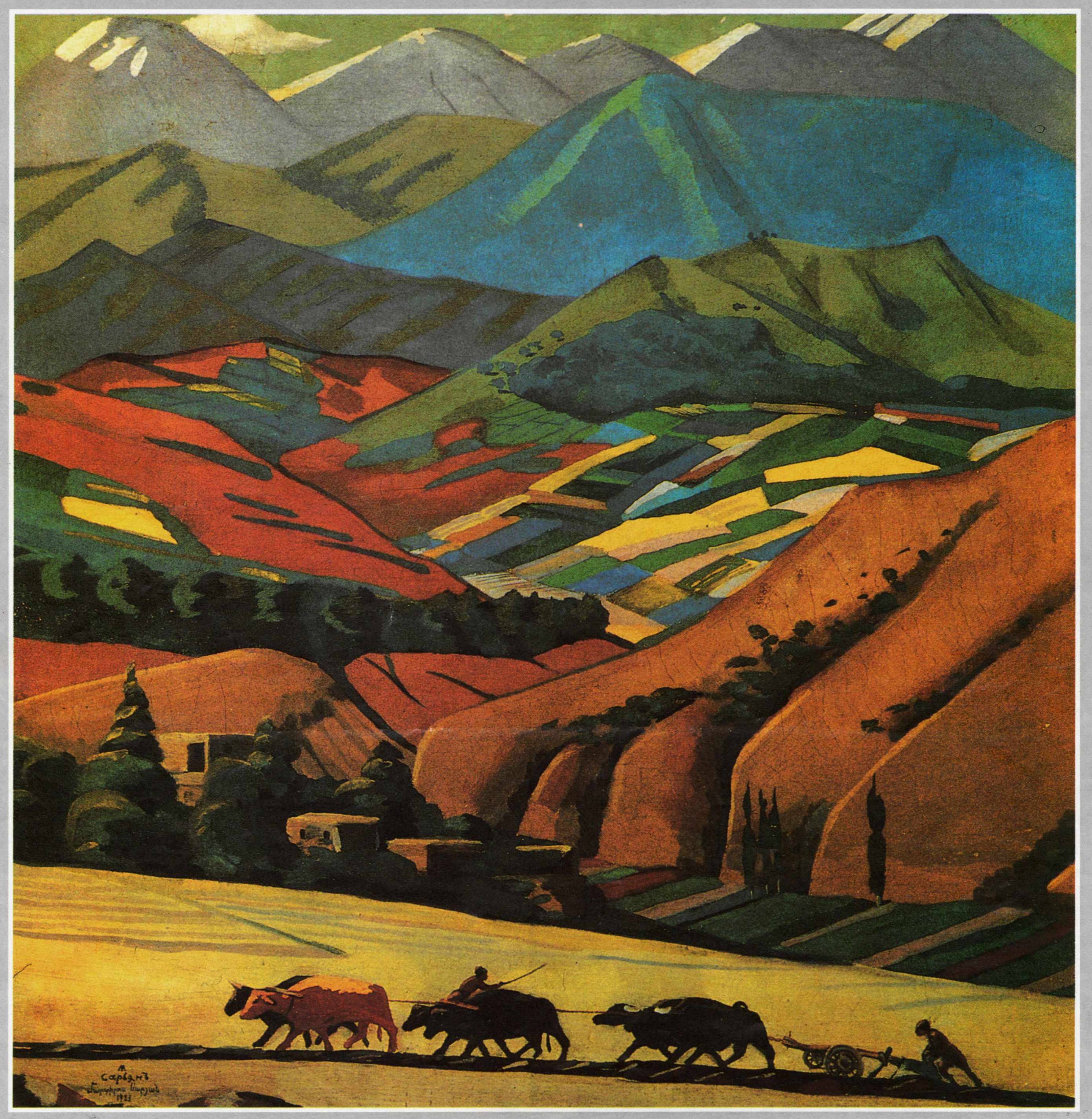
Употребление термина «геометрия» не покажется нам странным, если мы измерим «фигуры», образующиеся на плоскости. Вертикальная ось картины строго отделит друг от друга два треугольника, заполненные изображением домов. С другой стороны совпадут треугольники улицы и неба. В самом центре окажется та точка, в которой соединятся вершины четырех треугольников — двух острых и двух тупых. В чем же смысл этого «геометризма»? Симметрия действует как зрительная рифма, средство сопоставления живописного произведения со структурой геральдического мотива на древнем хачкаре, старинном окладе, средневековой армянской миниатюре или с формой средневекового стихотворения, вобравшего мудрость, лаконизм и отчеканенную точность мысли. Четыре треугольника «Улицы» — как четверостишие, в котором через общий рефрен-узор проступает неповторимо конкретный смысл каждой строки.

Приблизительно ту же функцию, что и композиция, берет на себя цветовая система. Как и другие художники его поколения, Сарьян изживает пленэр и импрессионизм. Это проявляется в контрасте взаимодополняющих цветов — синего и оранжевого. На холсте, созданном импрессионистом, можно было бы представить сложное взаимодействие этих цветов. Сарьян же очищает два цвета от промежуточных «смесей», обнажает их и сталкивает в прямом контрасте.

Очищение цвета, обнажение красочного пятна были характерны не только для Сарьяна, но и для многих других мастеров того времени, например, для Петрова-Водкина. В его работах тех лет — в «Играющих мальчиках», в «Купании красного коня» — опыт импрессионизма не преодолевается, а отвергается. Главные цвета избегают принципа дополнительности. Предметы существуют в пространстве, не пронизанном светом, а исходящим из конкретного источника. Тени тщательно нейтрализуются, они почти незаметны, так как в представлении художника они являются свидетельством случайной световой ситуации. У Сарьяна же свет и тень как бы материализуются, воплощаются в цвете и даже в краске. Тень опредмечивается, становясь вещественной. Вспомним густые тени от луны в «Ночном пейзаже» или тени в «Финиковой пальме», «Идущей женщине» и многих других классических картинах мастера.

Сопоставляя в целом образный смысл произведений этих двух художников, мы столкнемся с оппозицией двух понятий — символа и формулы. У Петрова-Водкина воплощается пер-

УЛИЦА. ПОЛДЕНЬ. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 1910.



ГОРЫ. АРМЕНИЯ. 1923.

Продолжение на вкл. 3.

Наталья ИВАНОВА

ТРАГЕДИЯ ПРЕДАННОСТИ И ЕЕ КОМЕДИЯ

В 1963 году Георгий Владимов начал свою работу над повестью «Верный Руслан», опубликованной в февральской книжке журнала «Знамя» за 1989 год. В 1963-м же году повесть (тогда — рассказ) была представлена в журнал «Новый мир» и получила достаточно высокую оценку, однако Твардовский посоветовал автору углубить свою точку зрения на героя: «Вы своего пса не разыграли». Но в изменившейся идеологической ситуации повесть после завершения авторской работы так и не смогла увидеть свет. Конфликт Г. Владимова с победившими в стране силами «застоя» привел в конечном счете к незаконному лишению гражданства — так же как и В. Войновича, чьи произведения («Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Путем взаимной переписки») появились недавно в «Юности» и «Дружбе народов» одновременно с «Верным Русланом».

Возвращение этих произведений на родину — свидетельство восстановления литературной карты в ее подлинных масштабах, что не исключает, естественно, и разных оценок и интерпретаций. Они и не заставили себя ждать — так, подписчики еще не успели получить журналы с романом-анекдотом и повестью Войновича, более того, наборщики еще не набрали весь текст, как уже на высокой встрече прозвенели гневные слова А. Иванова о «клеветнической сущности» «Чонкина». Критик Д. Урнов выразился изящнее: «Плохая проза». Прежде чем давать скоропалительные оценки и определения, попробуем разобраться в том, что же хотели сказать авторы и почему их произведения вызвали у иных критиков столь активное неприятие.

Владимов взялся за труднейшую задачу: исследовать сущность и трагедию того самого мрачно-эйфорического сознания, которое формировалось средствами массовой информации и авторитарным искусством. Недаром эпиграфом к повести стоит цитата из М. Горького: «Что вы сделали, господа?» Речь идет об искажении самой природы — в сущности, прекрасной: о дрессировке сознания людей, без которой мы ничего не поймем в возникновении эйфории масс, а критика тоталитаризма останется на «первичном» уровне эмоциональных заклинаний. Тем более, что, как справедливо замечает А. Ципко, «во многих случаях развенчание одних, легко разоблачаемых политических мифов вело к утверждению и пропаганде иных... А нередко эмоциональная, честная критика прошлого... гипнотизировала мысль». Один из новых мифов — это прямолинейное деление общества на «сталинистов» и «антисталинистов», на Шеховцовых и Андреевых, с одной стороны, и на Адамовичей и Карякиных — с другой. А посередине-то — огромное количество людей, опиравшихся в свое время и в своей вере на одно — на Службу. Служивших неправедной идее, но служивших ей по-своему честно. Искренне считавших, что так и надо жить и работать, что они исполняют свой гражданский долг. И сейчас оказавшихся в растерянности от того, что Служба оказалась неверной, неправедной.

Свобода для Руслана — это «особенная, невиданная кара», и он переживает ее как ужасное, катастрофическое наказание. Руслан выброшен из своей жизни, изгнан из рая, теперь для него навсегда «потерянного». Он пытается восстановить оборванные связи и живет только одним — недостижимой надеждой на возвращение лагерного порядка, представляющегося ему олицетворением порядка мирового.

Г. Владимов подробно, основательно пишет то, как натаскивали Руслана и других собак, как последовательно осуществлялась дрессировка на «злобу», на «выборку из толпы». От природы Руслан отнюдь не зол. Но для того, чтобы сделать из него или из Джульбарса, Ингуса и других «отличника по злобе», «отличника по недоверию к посторонним», надо было проявить много целенаправленной энергии воспитания.

Повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», публикация которой открыла в нашей литературе «лагерную тему», рассказывала о лагере изнутри колючей проволоки — с точки зрения зека. Владимов раскрывает сознание существа, находящегося вроде бы по другую сторону колючей проволоки, но с гораздо более искаженной природой, чем те, кто волею судьбы оказался внутри ее. «Господа! Хозяева жизни! — «окликает» Владимов в одном из авторских отступлений свой эпиграф.— Мы можем быть довольны, наши усилия не пропали даром. Сильный и зрелый, полнокровный зверь, бегущий в ночи по безлюдному лесу, чувствовал на себе жесткие, уродливые наши постромки и принимал за радость, что нигде они ему не жмут, не натирают, не царапают. Когда бы кто-нибудь взялся заполнить Русланову анкету,— а раньше, поди, и была такая, но канула вместе с архивом в подвалы «вечного хранения»,— она бы оказалась радужно сияющим листом, с одними лишь прочерками, сплошными, душе нашей любезными «не». Он — не был. Не имел. Не состоял. Не участвовал. Не привлекался. Не подвергался. Не колебался. По всей справедливости небес, великая Служба должна бы это учесть и первым из первых позвать его, мчащегося к ней под звездами, страшась опоздать».

Свобода не просто непривычна для Руслана — она для него неприемлема. Для него мир делится на охраняющих и на подконвойных. Всякие «вольняшки» вызывают его раздражение прежде всего потому, что они чужды его устойчивой картине мира.

Трудным вопросом он задается в трудные для себя, новые времена, когда ему начал открываться другой, большой, грандиозный, свободный мир. «А может быть... Может быть, настало время жить вовсе без проволоки — одной всеобщей счастливой зоной?»

Всеобщая зона — брезжущая замена тотальной разделенности. Преодоление разделенности, выбор не в сторону свободы, а в сторону несвободы. «Нет уж, решил он не без грусти, так не получится. Это каждый пойдет, куда ему вздумается, и ни за кем не уследишь».

Если даже предоставлена кому-то свобода, то и собака, и ее Хозяин воспринимают ее лишь как временную.

Как говорит Хозяин бывшему зеку Потертому, который заявляет о своей невиновности, о своей реабилитации («так мы ж вроде невиновные оказались...»): «А я б те по-другому советовал считать. Что ты — временно освобожденный. Понял? Временно тебе свободу доверили».

В этом тезисе о «временной свободе», данной хозяевами, неожиданно начинает звучать и перекликающийся с нашими современными дискуссиями строгий вопрос «вологодского» охранника Потертому: «...я ж вижу, на что ты свою свободу тратишь. По кабакам ошиваисси, пить полюбил. А там ты, как стеклышко, был — и печенка в порядке».

Приведу лишь одну из несравненно более интеллигентных по форме вариаций того же тезиса: «В понятии гласности заложена лишь возможность задавать «смелые» вопросы, но никак не гарантируя серьезности и глубины ответов» (В. Шацков, «ЛГ», 1989, 22 февраля). Не слышится ли здесь сакраментальное — на что вы свою свободу тратите? А ведь свобода и ее полузаконное дитя — гласность (истинно законным ее детищем я считаю свободу слова, а не стеснительный несколько эвфемизм «гласность», аналога которому ни в одном языке нет) существуют прежде всего ради... самой свободы. В том числе и свободы задавать те вопросы, на которые еще нет ответа, без оглядки на то, подготовлены ли глубокие ответы. Без этих неупорядоченных, внезапных, «дикорастущих», «неподготовленных» вопросов не возникнут ни информированность, ни «умение выделять ключевые проблемы» (слова того же автора). Гласность не гарантирует ничего, кроме гласности. А если гласность начнут сдерживать — мол, на что вы ее тратите? — то резонно возникнет следующий вопрос: а кто должен за человека решать, на что ее тратить, кто должен указывать и направлять?

Иначе получится, что в правильном использовании временной свободы больше всего заинтересованы именно охранители. Хозяева. Иначе опять согласимся, что общество делится на тех, кто идет в толпе, и тех, кто конвоирует. У Искандера есть замечательное словечко для конвоирующих свободу: «Присматривающие».

Бывший заключенный, которого сознание Руслана наделяет кличкой Потертый, осуществляет свою свободу, конечно же, с опаской, с оглядкой. И пока еще ему трудно вырваться из несвободы — ведь даже кожа его, как отмечает внимательный Руслан, навсегда пропахла лагерным запахом. И тем не менее, несмотря на этот вечный запах, по которому Руслан безошибочно выделяет подконвойного, Потертый не раб, он свободен и в разговоре с Хозяином, и в том чисто человеческом движении, которым он пожалел преданного Хозяином Руслана. В поведении Потертого свобода реализуется гораздо шире, чем в поведении Руслана или сержанта-охранника. Его душа вышла из лагерного ада живой, ибо он способен на жалость, милосердие, сострадание. Но Потертый — человек все-таки сломленный, с перебитым позвоночником. Горько и точно заметил В. Шаламов, что лагерный опыт не дает для человека ничего позитивного, лишь разрушает его. И Потертого этот опыт, конечно же, подломил. Один из самых сильных эпизодов в повести — эпизод несостоявшегося отъезда Потертого в родные места. Он и мечтает вернуться, и не может, он боится нарушить «спокойную» жизнь своих родных и не хочет обидеть Стюру... А Стюра? Тоже человек искалеченный: через многое она прошла, в том числе и через руки лагерных начальников... И природная ее доброта не превратилась ли в добродушное попустительство? В самом имени ее — Стюра — так и слышится стерпит; но не в том смысле, что «вынесет все, и широкую, ясную...»

Как же сохраниться человечности, искренности, надежде? Или все так искорежено, изгажено, что и места для нормальных чувств не осталось? Да нет: и в Стюре есть тоска по человечности, и она, неповоротливая, толстая баба, пьющая самогонку с Потертым чуть не на равных, может быть участливой и деликатной.

Но и преувеличивать Стюрино благородство, выискивать в ней особую «душу» и высокую нравственность не будем. Все гораздо жестче пишет Владимов. Жестче и страшнее. Когда Потертый впадает в своего рода романтизм — «Не ко всякому же постучишься — и чтоб живая душа оказалась! Знал бы я, что ты тут рядом, под боком, можно сказать, жила!» — Стюра как отрезает: «Нет, это не сомневайся — пустить бы пустила. И пожрать бы дала. И выпить. Спал бы в тепле. А сама — к оперу, сообщить, вот тут они, на станции, день и ночь дежурили».

Можно прочитать «Верного Руслана» и как притчу, в которой люди как бы зашифрованы под собачьими судьбами (и кличками). С точки зрения А. Синявского, написавшего одну из самых глубоких статей о «Руслане» (еще в 1975 году), Руслан не просто караульная собака, а «честный чекист, русский богатырь», Трезорка и тетя Стюра — «народ», Ингус — «интеллигент, в некотором роде автор повести Г. Владимова» (но в дальнейшем сам автор этой концепции, А. Синявский, выходит далеко за ее рамки, рассматривая повесть Г. Владимова в нравственном контексте классической русской литературы). Другая точка зрения, выраженная тоже в эмигрантской критике,— решительное несогласие с попыткой толковать повесть аллегорически, наподобие басни или притчи, где люди якобы загримированы под «зверей».

Я думаю, что «Руслан» и не аллегория, и не просто «повесть о собаке» в ряду «Каштанки» или «Белого клыка». Руслан уместил в своей драматической судьбе слишком много для караульной собаки, и в то же время, надо заметить, автор избежал искушения очеловечивания своего Руслана.

Если Г. Владимов написал о трагедии преданности, о ее безысходности и о несчастье самого субъекта этой преданности, то, читая В. Войновича, мы переключаемся в совершенно иной регистр — в комедию преданности. Солдат Иван Чонкин, ведущий свое происхождение от Ивана-дурака, предан приказу, предан своей службе. Для Руслана Служба есть подлинное существование (а отсутствие Службы — крушение всего и вся, жизненная катастрофа), для Чонкина, отнюдь не фанатика, Служба — есть долг солдата. И в полную меру отпущенных ему способностей он этот долг исполняет. Ивану Чонкину приказали охранять поврежденный самолет, и он его охраняет, пока приказ не снят,— никого не подпуская к своему «объекту». Терпят крах даже службы НКВД, получившие тайное задание уничтожить Чонкина: Иван со своей подругой Нюрой обезоруживает и арестовывает целый отряд во главе с капитаном Милягой. Чонкин обрастает легендой в глазах военного руководства; и вот уже его объявляют прямым потомком князей Голицыных, а предстоящую операцию по его обезвреживанию называют «ликвидацией банды Чонкина», хотя в составе «банды» только Иван да Нюра.

А тем временем Иван, мучительно раздумывая над тем, как же прокормить «арестованных», договаривается с колхозным руководством об использовании их в качестве рабочей силы.

Войнович весело обыгрывает разные значения слова «преданный». Так, в одном из страшных снов Чонкина, которого мучает мысль о возможном обвинении в предательстве, появляется апокалиптический образ: «На первом подносе в голом виде и совершенно готовый к употреблению, посыпанный луком и зеленым горошком, лежал старшина Песков, за ним с тем же гарниром шли каптенармус Трофимович и рядовой Самушкин. «Это я их всех предал»,— осознал Чонкин, чувствуя, как волосы на его голове становятся дыбом.

— Да, товарищ Чонкин, вы выдали Военную тайну и предали всех,— подтвердил старший лейтенант Ярцев, покачиваясь на очередном подносе и играя посиневшим от холода телом.— Вы предали своих товарищей, Родину, и народ и лично товарища Сталина.

И тут появился поднос лично с товарищем Сталиным. В свисавшей с подноса руке он держал свою знаменитую трубку и лукаво усмехался в усы».

Так Войнович реализует в прозе жанр анекдота, получившего в 60—70-е годы распространение, как своего рода «другая», неофициальная культура, противостоящая догматике и официозу.

Если Чонкин предан присяге и не может бросить самолет (сломанный и бесполезный), если Нюра предана своему Чонкину и, ничего не боясь, готова последовать за ним куда угодно, то такие, как капитан Миляга, играют лишь комедию преданности, а на самом деле предают все свои «убеждения» при первой угрозе. Миляга абсолютно беспринципен, идеологически мягок, как воск, да у него и нет никакой идеологии — вся его «железная преданность делу партии» есть миф. Служа в самом таинственном в стране (и, естественно, в районе) Учреждении, Миляга (как и вся его команда) с готовностью отрекается от родины (не говоря уже об Учреждении). А само Учреждение по роду своей деятельности таково, что исчезновение Миляги, да еще с целым отрядом, никак не отражается на жизнедеятельности района.

В «Чонкине» есть один глубоко преданный идее человек — местный селекционер Гладышев, страстно погруженный в выведение ПУКСа — гибрида «Путь к социализму», в котором «корешки» картофеля должны счастливо соединиться с помидорными «вершками». Гладышев, всецело отдавшийся выведению своего ПУКСа на чистом дерьме, не имеет времени думать о жене или ребенке. Его «преданность» направлена в будущее — отдаляющееся, как горизонт, а потому совершенно недостижимое.

Если «Верный Руслан» — своего рода поэма о преданности, то «Чонкин» — пародия на поток массовой литературы о преданности, о военных подвигах и героизме. Невероятные рассказы о невероятных подвигах в тылу врага буквально заполонили страницы отечественных серийных изданий, которые с успехом могли бы конкурировать с печально известными подвигами агентов различных западных спецслужб. Но, пародируя, доводя до разрушительно смешного гротеска само окружение, Войнович с нескрываемой любовью, теплым юмором пишет своих главных героев. И при этом остается чистой воды сатириком. Он показывает, как деформируется, искажается сама идея преданности, попавшая в «идеологические» щипцы: в финале повествования, например, генерал, прослезившись, награждает Чонкина орденом за проявленную им стойкость в выполнении приказа, но тут же отменяет награду и буквально в следующей фразе называет Чонкина изменником. А одобрение красноармейцев немедленно сменяется... их же негодованием.

Боец последнего года службы Иван Чонкин — самый никудышный из всего воинского состава (да и мужеска пола): малорослый, кривоногий, лопоухий, с маленькими глазками, вечно гоняемый и шпыняемый старшиной, который денно и нощно (но безуспешно) пытается воспитать из Чонкина славного красноармейца. «Неужели автор,— задает вопрос Войнович сам себе от лица возмущенного такой низменностью, тщедушием облика советского солдата читателя,— не мог взять из жизни настоящего воина-богатыря, высокого, стройного, дисциплинированного, отличника учебно-боевой и политической подготовки?

Мог бы, конечно, да не успел. Всех отличников расхватали, и мне вот достался Чонкин».

Автор посмеивается, но говорит чистую правду: вспомним солдата Ивана Бровкина, Максима Перепелицу и прочее порождение «соцреалистического» кинематографа.

Чонкин дорог автору, «потому что свой», это как с детьми — «у других, может, дети и получше, и поумнее»; но ведь всем ходом событий Чонкин опровергает первоначальные характеристики. Ведь именно он, Чонкин, как фольклорный Иван-дурак, в конечном счете получается и всех сильнее, и всех трудолюбивее.

Чонкина и Нюра-то полюбила за искренность небывалую и за небоязнь показаться смешным, нелепым — в Нюрином переднике расхаживает да щи ей варит, пока она почту развозит. И сама одинокая Нюра, в двадцать четыре года оказавшаяся в старых девах, чистая душа; недаром и корова Красавка, и кабан Борька, и даже куры относились к ней «как к человеку». Войнович пишет едчайшую сатиру с... двумя положительными (воспользуемся отработанной терминологией) героями в самом центре повествования. Действие вокруг этой пары разворачивается беспредельно абсурдное, а Иван и Нюра держатся здравым смыслом, трудом и любовью. Вот она, опора — не Режима, не Службы, а жизни.

И герой рассказа «Путем взаимной переписки» — человек тоже по-своему замечательный, привязчивый и деликатный; благодаря своей деликатности все более и более увязающий в семейной жизни, совсем даже ему не нужной. В принципе герой рассказа — своего рода модификация Чонкина. Да, жизнь вокруг исполнена бреда, чуть ли не идиотизма (недаром бредовые сны Чонкина порождены фантасмагорической реальностью), но чудо состоит в том, что и Чонкин, и его родной брат по «Переписке» в нечеловеческих, кошмарных, гротескных условиях проявляют себя прежде всего как люди.

Читать «Чонкина» или «Переписку» как реалистическую прозу — значит, не понимать художественных принципов сатиры как таковой. Отнюдь не над военными подвигами солдат и офицеров смеется автор — он осмеивает саму систему неразборчивого исполнительства, систему Службы Любой Ценой — Службы, ради которой готов пожертвовать всем верный Руслан.

В фильме «Наш бронепоезд», снятом по сценарию Е. Григорьева белорусским режиссером М. Пташуком (сценарий был написан еще в 1967 году), главным героем и главным «страдающим лицом» является бывший начальник лагерной охраны. Действие фильма происходит в 1966 году — и бывший охранник, ныне рабочий, ощущающий себя субъективно честным человеком («я лишь выполнял приказ»), переживает драму: и такие, как он, оказываются в конце концов тоже жертвами исполнительности, жертвами режима. Легче всего свалить все на Хозяина — вот уже и начальник лагеря всю вину нагружает на него и вот при помощи какого неожиданного, изощренного изгиба мысли: «Так это ж он нас продал! Он! Он только о себе думал! Понаставил по всей стране этих идолов. А он умер, и мы что?! А мы при чем остались? Одних выгнали, другие на пенсию... Три года прошло, и все, да? И весь твой порядок полетел к едрене-фене! Письмо о культе, и все! Так зачем же, спрашивается, мы столько лет грех на себя брали, по лезвию ножа ходили? Столько народу-то перепортили, Коля?»

Оставленность переживает бывший охранник. Оставленность — это то, что переживает и Руслан. Но он упорно ждет возвращения так же, как ждет возвращения «утраченного порядка» и полковник в отставке, ныне добродушно выращивающий кактусы (его, кстати, в фильме все время сопровождает старая караульная овчарка Чара, как напоминание о лагере,— не родная ли сестра владимовского Руслана?). Ненависть отставного полковника к Сталину в фильме утрирована, шаржирована: «Учитель, ух... Я б его из этого самого... из Кремлевской стены за ноги вытащил, чтоб духу его там не было, а в Гори бы такой кол вколотил, чтобы навеки была память!» Вряд ли реальный начальник лагеря способен на такие эмоции по отношению к Главному Хозяину, с образом которого связана (и им же как бы оправдана) вся его жизнь,— здесь явная натяжка. Но вот последующие слова экс-лагерника психологически точные: «А мы еще понадобимся. Вот поверь моему слову. Мы пока на пенсии. А если что... мы тут. Ну если там враги народа, космонавты, космополиты, врачи, агрономы. Они никогда таких кадров нигде в мире не найдут! Молодежь образованна, но у нее опыта нет. А мы с тобой — мирные люди, наш бронепоезд стоит... на запасном пути. Вот мы с тобой и есть тот бронепоезд».

Полковник выговорил то, что Руслан ощущает всем своим существом,— свою необходимость порядку, который остался, только надо подождать. Немного выдержки, и прекрасный лагерный строй вернется. Сначала каждый день, потом изредка, но все же постоянно навещает Руслан и место бывшего лагеря и стремится успеть встретить поезд — упорно ждет прибытия новой партии заключенных. Другие караульные собаки уже перестали ждать и верить, уже перешли на службу к «вольняшкам», изменили Службе настоящей, а Руслан все ждет. И терпеливое ожидание его, вера его, преданность, как ему кажется, вознаграждаются — в поселок прибывают молодые строители, которые сами выстраиваются в красивые, стройные колонны. И тут со всех концов поселка, откуда ни возьмись, возникают караульные собаки и сначала сопровождают колонну, торжественно исполняя великую Службу, а потом и нападают на тех, кто допускает шаг в сторону.

Виноват ли Руслан в том, что он не-

сет свою Службу так, как его выдрессировали? Виноват ли он в своей преданности? Виноват ли в том, что не может осознать и принять перемен? Вопрос этот относится отнюдь не только к караульной собаке — что с нее спрашивать; и Потертый не видит другого выхода, как добить пса с переломанным позвоночником.

Но сегодня обществу не уйти от проблемы — как объяснить людям, преданным старому порядку, с которым связана вся их жизнь, что порядок был античеловечен? Поток антисталинских разоблачений уже получил определение «истерического антисталинизма», причем отнюдь не от вульгарного сталиниста, а от человека пострадавшего, на себе самом испытавшего ужасы тюрем и концлагерей *. С бывшими охранниками, как показывает фильм «Наш бронепоезд», и то не все ясно — ту драму, которую пережили наиболее «субъективно честные» из них, только начинает осознавать наше искусство. А мы сами, миллионы, что радостно голосовали и кричали «ура»? Мы разве ни в чем не виноваты? Интеллигенция, которая должна была понимать, что значит организованный голод на Украине, в Поволжье, в Казахстане, но молчала? Да, прозвучал самоубийственный выстрел М. Хвылевого в 1933-м, но он был чуть ли не единичным. Так кто же виноват и с кого спрашивать? С Руслана? Но вопрос может быть поставлен еще драматичнее: а что же народ, на который молилась русская литература? Как заставили нас всех сначала замолчать, потом славить? «В меру своих сил,— замечает В. Тендряков в повести «Люди или нелюди»,— я старался быть верным учеником наших классиков, и меня всегда властно тянуло на умиление перед милосердием самаритян из гущи народной, но жизнь постоянно преподносила мне жестокие разочарования». С одной стороны, страшно и подумать о вине всех, с другой — В. Тендряков считает невозможным не говорить о жестоких сторонах народа, мгновенно превращающегося в толпу. Недаром и эпиграфом к своему повествованию В. Тендряков взял определение из Толкового словаря В. Даля: «Народ м. люд, народившийся на известном пространстве; люди вообще; язык, племя; жители страны... состоящие под одним управлением; чернь, простолюдье, низшие, податные сословия; множество людей, толпа». Как могут сходиться в одном народе лютая жестокость и доброта? Над загадкой этой бился еще Чехов (вспомним «В овраге»); происхождение жестокости наши народолюбцы объясняли жестокостью эксплуатации, социальных условий, бесправием; но вот Тендряков берет экспериментально «чистую» ситуацию, без эксплуатации, без бесправия, и опять видит — высокое милосердие легко оборачивается чудовищным зверством. «И невольно припоминаешь годы, когда едва ли не весь наш народ вопил в исступлении: «Требуем высшей меры наказания презренным выродкам, врагам народа! Требуем смерти, жаждем крови!..» По капле воды можно судить о химическом составе океана. Того океана, который зовется Великим Русским Народом, за которым всеми признается широта и доброта души!»

Почему мы такие? И жестоки, и добры, и агрессивны, и готовы посочувствовать, пожалеть, с шапкой пройти ради несчастной женщины, пять минут тому назад нами же обозванной «лагерной шалавой»? И трусливы, и порою безрассудно смелы?

Мучается, мрачнеет Тендряков, не может дать ответа. Не дает ответа и мрачнеет Владимов. И, как это ни парадоксально, самым светлым образом отвечает на этот (и иже с ним) вопрос сатирик В. Войнович. Ведь чудовищные нелепости, о которых идет речь в «Чонкине», есть порождение уродливой государственности, того самого «прекрасного строя», о котором грезит умирающий на свалке Руслан. А Иван Чонкин и его подруга Нюра — герои подлинные, чистые, наивные, и их преданность здравому смыслу и друг другу, может быть, самое главное, на что может опереться измученная, потерявшая то, что ей казалось «верой» (модно выдрессированные идеологические стереотипы), душа.

Повесть Г. Владимова «Верный Руслан», роман-анекдот В. Войновича о солдате Чонкине, как и не опубликованные раньше произведения В. Тендрякова, долго шли к отечественному читателю. Долго и трудно. Лучшее, что создано на русском языке писателями, вынужденными уехать в эмиграцию, по праву принадлежит русской культуре, продолжает ее великие традиции. Разве не звучит в любви Руслана к строю, его умилении перед колонной отзвук идей Великого Инквизитора? Разве не слышен гоголевский смех сквозь слезы в авторской интонации, повествующей о привязанности Потертого и Стюры? Но то, что провидел гений Достоевского, мы получили в непредставимых даже этим пророком размерах. Сегодня, печатая и читая прозу Владимова и Войновича, мы не только отдаем должное этим писателям и просим прощения за изгнание, которому мы в лучшем случае молчаливо не препятствовали. Оказалось, что их произведения попали в самую больную, неразрешимую проблему.

Думаем вместе.

Мы переживаем очень тревожное время. Процесс освобождения идет неровно, с задержками, спадами. Тем не менее очевидно, что не только рукописи обретают права гражданства, но и получают возможность приехать (хотя бы ненадолго) их авторы. Совсем недавно в Москве побывали А. Синявский, М. Розанова, Ю. Алешковский, Н. Коржавин, Р. Орлова, Л. Копелев, В. Войнович. В полной выстраданных, основанных на личном опыте мыслей статье-эссе о «Верном Руслане», по объему почти равной владимовской повести, А. Синявский (кстати, до сих пор не реабилитированный) с горькой иронией писал о том, что слова «лагерь», «запретка», «проволока», «вышка», «шмон», «вертухай» «не только въелись в национальное самосознание России, в ее язык и стиль жизни, но и обогатили наречия Европы и Америки, вошли в состав крови нынешнего мира». О том, что наш космос может быть приравнен к «запретке», и за него нам, «детям ГУЛАГа», не выпрыгнуть, где бы мы потом ни жили — в Бразилии или Париже. Но литература именно потому и чудо, что она способна даже на территории «запретки» освободить человека, помочь вылезти из психологии ГУЛАГа. И именно поэтому ее, в литературе, воздействия так опасались власти.

Раньше А. Синявский и другие писатели передавали свои рукописи на Запад тайно, под угрозой многолетнего заключения, иногда под вымышленным именем. С Востока на Запад.

Сегодня повести и романы, стихи и статьи, написанные на родине и в изгнании, летят в обратном направлении: Запад — Восток.

Если просто переменился ветер — тогда опять можно ждать любых стихийных бедствий.

Если же переменились мы...

Это была бы, пожалуй, главная гарантия необратимости перемен.

В связи с публикациями, о которых говорилось выше, с возвращением книг и приездами на Родину наших соотечественников с роковой неизбежностью не могут не возникать вопросы о «моральности» поведения «их» и «нас», о том, что было лучше, а вернее, мужественнее: открыто бороться и «вывезти» свои — в том числе еще и ненаписанные — книги с собой или продолжать работать «здесь» — вполне безнадежно — над рукописями, которые вряд ли увидят свет (как В. Тендряков), или все-таки начать говорить с обществом, стоически сопротивляясь времени своими произведениями (как Ю. Трифонов)?.. Не надо в противоположность самовосхвалению впадать в самоуничижение: ведь очень многое сделано не только теми, кто шел на «баррикады», но и теми, кто оставался людьми порядочными. Каждый отвечает, скажем, на вопрос — почему я был таким тогда? — по-своему, и не только теперешними своими покаянными словами (как говаривал пушкинский Сальери: «эти слезы впервые лью: и больно и приятно, как будто тяжкий совершил я долг, как будто нож целебный мне отсек страдавший член!»), но и тогдашними своими книгами и выступлениями в печати (от этого тоже никуда не деться). Позиция огульного осуждения здесь, естественно, не точна. Вспомним строки А. Кушнера:

Легко быть ангелом —
ведь к ангелам не шлют
Инструктора с последней
установкой.
На бой, на подвиг и на труд
Не вдохновляют их ни словом,
ни винтовкой.

Одни сейчас мучительно задумываются над проблемами сегодня, пришедшими к нам из дня вчерашнего. Другие... другие в эти раздумья привносят, так сказать, свой колорит, особые оттенки и краски.

Так, на мой взгляд, Б. Сарнов в своей статье «О молчальниках» и «первых учениках» (Огонек, 1989, № 16) попытался уникально соединить три роли: исповедующегося, отпускающего грехи и судии — един, так сказать, в трех лицах.

Поскольку в своей статье Б. Сарнов благосклонно объявил, что в моем споре с М. Лисянским («Дружба народов», 1987, № 12) все его симпатии на моей стороне, то я позволю себе коротко прокомментировать некоторые положения его статьи. Ибо со многими из них согласиться не могу.

В статье Б. Сарнова речь шла об активном участии — или молчаливом неучастии — в карательных «литературных» акциях прошлых лет. Б. Сарнов практически оправдал «молчание» И. Эренбурга, гневно заклеймил В. Солоухина по поводу его письма в «Советскую культуру», вскрыл неискренность, ловушку самообмана у К. Симонова в отношении М. Зощенко и полностью отпустил «грехи» Б. Слуцкому. При этом он покаялся в собственной слабости — промолчал когда-то. «Все мы немного Солоухины», — заключает он в одну компанию тех, кому должно быть нынче стыдно за свое молчание, и меня со Ст. Рассадиным в том числе.

Не знаю, как быть с И. Эренбургом, я здесь не специалист. Но вот «отпущение грехов» Б. Сарновым Б. Слуцкому вызывает недоумение. Б. Слуцкий как крупная, трагическая личность в этом не нуждается. Зачем понадобилось неуклюже противопоставлять выступление Б. Слуцкого другим и как вообще можно квалифицировать участие в травле поэта следующим образом: «в отличие от других ораторов изо всех сил старался держаться в рамках приличий». Стоит ли вообще употреблять в подобной ситуации слово «приличия»? Что же касается «душевной болезни», которая, по утверждению Б. Сарнова, возникла у Слуцкого в связи с этим выступлением, то не надо забывать, что у поэта была и другая, не менее трагическая причина для болезни — смерть горячо любимой жены. Но это, естественно, нисколько не заслоняет его тяжелых переживаний по поводу собственного поведения в «деле» Пастернака. Хотя, должна сознаться, я все-таки убеждена, что Слуцкий отнюдь не человек двойной морали, и тогда, в 1958 году, наверняка был уверен, что он поступает правильно.

Но на вопрос — почему мы молчали? — статья Б. Сарнова не отвечает. «Подумаешь, бином Ньютона!» — отмахивается он репликой булгаковского Коровьева. Были, мол, армия, органы, все в руках у властей предержащих.

Но ведь если были десятки миллионов репрессированных, то были и сотни тысяч тех, кто осуществлял репрессии, были и миллионы молчаливо (или радостно) одобрявших.

Эти миллионы — мы с вами. Поэтому нельзя не вспомнить в самую точку сказанные Надеждой Мандельштам слова: «Дело не в Сталине, дело в нас». И вчера, и сегодня. И до сих пор мы сидим, как образно выразился С. Залыгин, по уши в сталинизме.

А ведь вопрос Б. Сарнова возник из-за невнимательного чтения моей статьи. Я никому, в том числе и М. Лисянскому, не предъявляла претензий по поводу «молчания». Дело в том, что М. Лисянский сам вызвался объяснить свое поведение «тогда» в стихотворении о собрании писателей по исключению Пастернака — «такое было это время, такими были мы тогда».

Первым мне за ответ М. Лисянскому пенял Ю. Идашкин, поведение которого до Брежнева, да и в застойные времена, слишком хорошо известно. Теперь к нему, видимо, с самыми благородными побуждениями невольно присоединился Б. Сарнов. Трогательное единодушие. И странное — ведь Ю. Идашкин вовсе не разделял мою точку зрения.

Меня интересует вопрос историко-философский, возникший не только в связи со строчками М. Лисянского: можно ли сваливать все на времена? Кстати, в письме в «Советскую культуру» «первый ученик» В. Солоухин приводит точно такой же аргумент, что и «молчальник» М. Лисянский: «такие уж были времена».

И вывод Б. Сарнова («В конечном счете все определяется тем выбором, который каждый делает сейчас») — тоже своего рода индульгенция. Опять получается, что «не люди виноваты, а времена» (Ю. Трифонов «Дом на набережной» — самооправдание Глебова).

Да, многое определяется сегодняшним выбором. Но не все.

Я утверждала и продолжаю утверждать, что все-таки не только «времена» виноваты. И именно поэтому я написала следующие слова в своем ответе М. Лисянскому: «Не знаю, как бы вели себя мы, люди моего поколения, в тех условиях. Возможно — хуже». По крайней мере в более «мягкое» время мы вели себя не самым лучшим образом. И хотя я вступила в Союз писателей лишь в 1982 году, чувство вины есть у меня. А молчала я или нет — судить о том читателям моей единственной книги «застойных» лет «Проза Юрия Трифонова», моих статей и фельетонов первой половины 80-х.

Я против и «страшных судов», и новоявленных индульгенций. Повторяю — не судить, но знать и понимать. Исторический и жизненный опыт, память о прошлом обрубить нельзя — это чревато и тем, что каждый раз с приходом нового высшего руководителя нам придется начинать «новую» жизнь.

Общество сейчас переживает период, который можно обозначить как переходный от малого исторического опыта к большому. Малый опыт замкнут на современности (она может включать и «ближнюю» историю, подменяющую собой историю в ее подлинной масштабности), большому опыту необходимо историческое время во всей его протяженности. «Большой опыт,— писал М. Бахтин,— заинтересован в смене больших эпох (большом становлении) и в неподвижности вечности, малый же опыт... построен на нарочитом забвении и нарочитой неполноте».

Процесс преодоления обществом малого опыта, расширения его в большой не может не проходить болезненно, ибо, разоблачая политические мифы малого опыта, он сталкивается не только с агрессивными заслонами идеологического консерватизма, но и с застывшим сознанием людей, «дрессированным», в частности, авторитарным псевдоискусством. Наше сознание переживает это расширение, переживает трагедию преданности, включая в историческое осмысление не только 20—40-е годы, но и свою собственную жизнь.

* Хаиндрава Л. Некоторые мысли по поводу современной «сталинианы».— «Литературная Грузия». 1989. № 1, с. 127.

Георгий ФЕДОРОВ,
доктор исторических наук

ЗАСТУПНИК

В июне 1967 года мои друзья Петр Ионович Якир и его жена Валентина Ивановна Савенкова, попросили меня зачислить на работу в археологическую экспедицию, которой я руководил, какого-то человека. «Это очень важно»,— убеждал меня Петя. Я отнекивался. Говорил о том, что мы в экспедиции круглые сутки находимся вместе, мол, к каждому новичку нужно долго присматриваться, ведь неуживчивый характер может испортить настроение, даже отравить существование всему коллективу. Они убеждали меня, что в этом случае ничего подобного не случится. В результате я сдался и попросил передать Габаю (а речь шла именно о нем), чтобы он на другой день зашел ко мне.

Едва увидев Илью Габая, я понял, что друзья мои были правы. В этом лице отчетливо виделись доброта, ум, интеллигентность, мягкое обаяние. Кроме того, Габай тогда поразил меня своей необычайной бледностью. Я, правда, уже знал, что обозначает эта бледность. Она была на лице одного из моих друзей, вернувшегося после 10 лет заключения в 1947 году и вскоре снова канувшего обратно... Такие лица во множестве попадались мне в Москве в 1956 году, и среди них немало было моих друзей, в том числе и тех, кого я давно считал погибшими...

Илья Габай коротко рассказал о себе. Родился в 1935 году в Баку. Рано осиротел. В 1950 году переехал в Москву. Отслужив в армии, поступил в Московский педагогический институт. Потом работал учителем на Алтае, воспитателем в пионерском лагере, в колонии для малолетних преступников, на целине; в 1963 году вернулся в Москву, снова пошел учителем в школу и педагогическое училище, потом редактором...

В конце февраля 1989 года в Доме культуры завода «Серп и молот» состоялся вечер памяти поэта, мыслителя, правозащитника Ильи Габая, погибшего в 1973 году.

— Вот лист бумаги и ручка.— прервал его я.— Пишите заявление. Будете рабочим в нашей экспедиции. Это, конечно, не стройбат, но работа не из легких.

— Я не боюсь работы, — ответил Илья, — но есть одно обстоятельство...

— Да, да, но это не имеет значения. Пишите заявление и готовьтесь к дальней дороге. Поедем на экспедиционном фургоне в Молдавию и на Юго-Западную Украину.

Илья посмотрел на меня долгим взглядом и, будучи необыкновенно щепетильным человеком, сказал, что в январе он был арестован КГБ за участие в демонстрации протеста против ареста и суда над писателями Даниэлем и Синявским, заключен в тюрьму и лишь недавно — в мае — освобожден в связи со снятием с поста министра Госбезопасности Семичастного «за отсутствием состава преступления». Я только махнул рукой...

На берегу Ялпуга мы вели раскопки сарматского могильника II— начала III века нашей эры, нескольких землянок эпохи бронзы II тысячелетия до нашей эры, поселения эпохи Первого болгарского царства IX — X веков н. э. Мы часто и много говорили с ним, и не только о раскопках, в перерывах и после работы, в лагере. Эти разговоры помогли мне лучше понять Илью, и когда через четыре года он оказался не по своей воле в Сибири, мы стали переписываться.

В Москву мы вернулись уже близкими друзьями. И лишь теперь мне открылась еще одна сторона деятельности Ильи, впрочем, органически вытекавшая из основных свойств его личности. Как впоследствии стало известно, Илья был инициатором и одним из главных выпускающих знаменитого нелегального сборника «Хроника текущих событий». В нем сообщалось о различных правонарушениях по отношению к отдельным людям, о незаконных, неправосудных действиях властей и даже о невесть как попавших фактах несправедливостей, творимых в тюрьмах, лагерях и специальных психиатрических больницах. Издателей, распространителей и даже просто читателей «Хроники текущих событий» подвергали арестам, заключению, другим видам гонений, но «Хроника» продолжала выходить, несмотря ни на что.

То, что печаталось в «Хронике», сейчас можно прочесть в большинстве газет и журналов. Но тогда до этого было еще далеко. Илья и его товарищи постоянно жили под угрозой ареста и преследований. Как-то не вязались с велеречивыми разглагольствованиями Брежнева и его присных о разрядке, о гуманизме режима сообщения, которые публиковались в «Хронике текущих событий»,— подчеркнуто объективные, содержащие только лаконичные факты об арестах, судах, голодовках, оттого особенно выразительные и страшные.

В те годы в уголовный кодекс РСФСР, несмотря на протест общественности, и в частности академика А. Д. Сахарова, была внесена позорная статья 190 [1], карающая за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Аналогичные статьи были внесены и в уголовные кодексы других союзных республик. По этим статьям можно было «в судебном порядке» упрятать на три года в тюрьму и в ИТЛ общего или усиленного режима любого человека: «Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания». Какой простор для «судебного» произвола! Не говоря уже о том, что под эту статью попадали, были судимы и отправлены в тюрьмы и лагеря люди, у которых просто при обыске находили «крамольные» — с точки зрения обыскивающих — произведения, пусть они даже их не изготовляли и не распространяли.

Статья 190 [1], только что отмененная, была введена Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1966 года. Это был один из первых «законодательных» актов Брежнева и его команды. Все большее количество людей были судимы по этой статье. Суды только назывались открытыми. На деле туда допускались в основном специально подобранные лица, в зале суда запрещалось записывать ход судебного разбирательства, приговоры были заранее предопределены. Адвокатов, стремившихся всерьез выполнить свой долг перед своими подзащитными, всячески преследовали, а бывало, и исключали из Коллегии адвокатов и из партии. На бесчисленных партийных, комсомольских, профсоюзных и других собраниях всячески поносили «очернителей», применяя к ним самые суровые административные и иные меры. А «Самиздат» продолжал существовать, и «Хроника текущих событий» по-прежнему выходила. И это при таком неравенстве сил!

Думаю, это можно объяснить прежде всего двумя факторами: во-первых, молчаливой поддержкой людей, боровшихся за права человека в нашей стране; затем — талантливостью, бесстрашием, самоотверженностью участников движения за гласность и демократизацию. В подавляющем большинстве это были люди, личная судьба которых складывалась относительно благополучно. В стан борцов против застоя, против коррумпированной, все более прогнивающей и свирепой брежневской командно-административной системы, против власти бездушной бюрократии их привело обостренное чувство справедливости, искреннее желание помочь своему народу, неприятие насаждавшегося и царившего при Брежневе режима, открыто стремившегося к реабилитации Сталина и сталинщины. Эти люди прекрасно сознавали, что они обречены, что силы неравны, но высокая духовность и нравственность заставляли их выбрать этот путь. Во время следствия и в суде они — в подавляющем большинстве случаев — не признавали за собой никакой вины, использовали малейшую возможность для выступления против брежневщины, за гласность и демократизацию жизни, не заботясь о собственной участи. Именно они

и были подлинными предтечами той перестройки, тех процессов обновления, которые сейчас развернулись в нашей стране, подлинными героями и мучениками.

Одно из первых мест среди них принадлежит Илье Габаю...

На полевые археологические работы сезона 1968 года Илья поехал уже как опытный, всеми любимый и уважаемый экспедиционник.

Я понимал, что опасность, нависшая над ним, все увеличивается, и мне хотелось хоть на время увезти его из Москвы. В экспедиции он и вправду стал гораздо спокойнее, снова начал писать стихи, и, хотя некоторые из них были далеко не оптимистичны...

Но вот экспедиция перебралась из Молдавии снова на благословенный берег озера Ялпуг на юге Бессарабии. По просьбе Ильи к нам приехала с хорошо знакомой мне бледностью, совсем юная худенькая девушка Вера Лашкова — одна из подсудимых на очень громком политическом процессе тех лет А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, В. Добровольского и В. Лашковой, судимых за издание самиздатского правозащитного журнала. Вера, получившая самый маленький из всех подсудимых срок — один год заключения, отбыла его во время предварительного следствия и была отпущена из зала суда. Она приехала к нам. С тех пор мы связаны тесной дружбой.

21 августа мы по радио узнали потрясшую нас новость: войска пяти социалистических государств во главе с советскими войсками вторглись в Чехословакию...

Трудно передать, какое гнетущее впечатление это событие произвело на сотрудников экспедиции, а особенно на Илью. Илья рвался в Москву. Я не мог, не хотел отпускать его.

— Вы же знаете, зачем мне необходимо быть в Москве, — говорил Илья.

— Знаю, именно поэтому и не хочу отпускать тебя,— отвечал я, впервые за все время знакомства и дружбы с ним пытаясь оказать на него давление.

...Экспедиция вернулась в Москву. Возобновились серые московские будни. Но вот наступила весна 1969 года. Экспедиция готовилась к новому сезону полевых работ, и я с облегчением думал о том, что Илья снова уедет из Москвы. Когда Илья куда-нибудь направлялся, за ним повсюду следовала машина, набитая молодыми людьми. Если он заходил в дом, машина дежурила у подъезда, если шел пешком по улице, за ним следовали два или три человека. Время от времени они менялись, и я с удивлением подумал тогда о том, сколько же молодых людей избрали для себя такую «редкую» профессию. По опыту мы уже знали: обычно такая слежка предшествует аресту.

19 мая 1969 года Илья был арестован у себя на квартире на Лесной. Был произведен тщательный обыск и были изъяты груды бумаг и документов.

В январе 1970 года в Ташкенте, где Илья никогда в жизни до этого не был, состоялся «открытый» суд.

На процессе подсудимые держались твердо и мужественно. Они не признали себя в чем-либо виновными, впрочем, суд и не стремился что-либо доказывать. Все они получили по три года каждый по пресловутой статье 190 [1].

Обычно по отношению к арестованным правозащитникам следователи, а за ними и суд, при малейшей, даже самой эфемерной возможности, пытались применить какие-нибудь чисто уголовные статьи кодекса. В случае с Ильей такие возможности отсутствовали, начисто исключались, настолько высоконравственной была его личность.

Из тюрьмы Илья после процесса был отправлен в ИТК под Кемерово, в Сибирь. Там жил он вместе с ворами, насильниками, убийцами в камере, где помещались 40 человек. Он забивал сваи, работал каменщиком и, кроме того, жил очень напряженной, насыщенной интеллектуальной жизнью. Он выписывал пять газет и 12 журналов, писал для заключенных различные просьбы, жалобы, сам вел обширную переписку по меньшей мере с 40 адресатами. Переписывался он и с нами. Я бережно сохранил все 24 его письма, в которых столько мужества, ума, образованности, юмора и доброты.

Рассказывают, что слухи о необычном арестанте распространились по многим лагерям и передавались по этапам. В тюрьме и лагере он сочинял стихи, сонеты, написал замечательную поэму «Выбранные места».

Только однажды за все время пребывания в лагере впал он в отчаяние, когда на его глазах уголовники проиграли в карты одного из своих и выбросили его из окна пятого этажа. В такой обстановке Габай отбывал свой срок...

За несколько месяцев до истечения срока Илья был переведен из лагеря в следственный политизолятор КГБ в Лефортово в связи с доследованием. Следствию удалось создать у него ощущение, что все его друзья и близкие арестованы. Он был поражен, выйдя из тюрьмы, что все они на свободе. Правда, это длилось недолго. Вскоре арестовали П. Якира, В. Красина и других. Следователь Ширковский дважды вызывал меня на допросы по делу Габая как свидетеля. Вместе с тем он разрешил передать в камеру Илье книги и отзывался о нем с большим уважением.

Наступило 19 мая 1972 года. Конец срока заключения Ильи. Мы с женой, прихватив бутылку коньяка, к шести часам утра приехали к выходу из Лефортовского изолятора и застали уже с ночи дежуривших там Юлия Кима и Марка Харитонова. Все мы очень волновались, поскольку никакой гарантии, что Илью вообще сегодня освободят, не было. И тут мы увидели следователя Ширковского, статного, в коричневом костюме с университетским значком на лацкане, шествовавшего на работу. Я подошел и встревоженно спросил, выпустят ли сегодня Илью.

— Безусловно, выпустят,— ответил Ширковский.— Хочу вам дать один совет. Вы знаете о «Деле № 24»?

— Кое-что слышал.

— Это дело о нелегальной «Хронике текущих событий». Мы имеем право защищаться. Если вы хотите сохранить Илью Яковлевича для семьи, для друзей, для поэзии, уговорите его больше не заниматься этим. Он и так ходит по острию ножа.

— Я обдумаю ваш совет,— сказал я в некотором замешательстве, услышав столь недвусмысленную угрозу.

Но Ильи все не было. Наконец, в половине одиннадцатого утра Ким позвонил на квартиру к Габаю, и выяснилось, что он давно уже дома. Его, видимо, опасаясь каких-то манифестаций и эксцессов, выпустили через служебный выход, и он, сгибаясь под тяжестью книг, доплелся до дома сам.

...Заключение очень тяжело отозвалось на Илье, хотя внешне он оставался таким же улыбчивым, был, как всегда, добр, приветлив, умен. Может быть, он и пришел бы в норму, но его не оставляли в покое. Работу он смог получить только самую низкооплачиваемую, в 70 рублей, потом его стали таскать на новые допросы, угрожали новым сроком, устраивали очные ставки. Немало было и других сложностей. А он, несмотря на рождение дочери, на любовь к 11-летнему сыну и жене, все чаще становился каким-то поникшим, усталым от жизни. В ночь на новый, 1973 год он пытался перерезать себе вены, но чудом был спасен. Он стоял перед бездной...

Летом 1973 года Илья в экспедицию не поехал, а мы опять работали на том самом берегу озера Ялпух. И вот 20 октября вечером мы услышали сообщение Би-би-си о том, что поэт и правозащитник Илья Габай покончил жизнь самоубийством сегодня утром, выбросившись из окна своей квартиры с десятого этажа...

Его отпевали в православной церкви, как праведника, сочтя, что это было не обычное самоубийство, а медленное преднамеренное убийство. Памятник на его могиле сделал выдающийся скульптор Вадим Сидур...

...И вот вечер в Москве. На сцене, на темно-бордовом фоне, висел большой живописный портрет Ильи Габая кисти его друга Михаила Федорова.

Вечер вел один из ближайших друзей Габая — писатель Марк Харитонов. Люди самых разных возрастов и профессий: писатели, поэты, врач, археолог, адвокат, редактор — делились своими воспоминаниями о Габае, читали его стихи. На вечере царила атмосфера особой искренности, открытости, и, когда Юлий Ким запел свой «Реквием», посвященный памяти погибших, безвременно ушедших из жизни жертв репрессий, правозащитников, зал встал и, стоя, слушал его...

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ПОДСУДИМОГО ИЛЬИ ЯКОВЛЕВИЧА ГАБАЯ (печатается в сокращении)

Я привлекаюсь к уголовной ответственности за то, что открыто поставил свою подпись под документами, в которых излагалось близкое мне отношение к некоторым фактам нашей жизни.

Иметь свое, отличное от официального, мнение по вопросам внутренней и внешней политики — завоевание более полуторавековой давности. Я думаю, что ради этого естественного человеческого права и совершались и в предшествующие века самые приметные действия: штурмовали Бастилию, писали трактаты о добровольном рабстве или «Путешествие из Петербурга в Москву». Страны, не придерживающиеся этих законов жизни, в настоящее время выпадают из общей нормы. Это признает и Конституция нашей страны, предоставившая своим гражданам свободу слова, совести, демонстраций.

Тем не менее время от времени появляются одни и те же оговорки, позволяющие квалифицировать недовольство, несогласие, особое мнение как преступление.

Более ста лет назад одна провинциальная русская газета писала: «Говорят о свободе слова, о праве на свободу исследования — прекрасно... но не там, где речь идет об общем благе. Ввиду этой последней цели все свободы должны умолкнуть и потонуть в общем и для всех одинаково обязательном единомыслии».

В переводе с пошехонского языка на современный эта благонамеренная сентенция напоминает разговоры с разоблачениями абстрактных свобод, суждения, клеймящие инакомыслие как посягательство на великие и единые цели. «Недаром,— добавляется в этом случае,— и западногерманские реваншисты (или Би-би-си, или «Голос Америки») встречают бурным одобрением это инакомыслие».

Я плохо улавливаю в таких случаях, какое отношение имеют реваншисты к аресту, например, председателя колхоза Ивана Яхимовича. Возникает другой, более важный вопрос: почему официальная точка зрения обязательно общенародная? Неужели для достижения общего блага необходимо было в порыве единомыслия считать Тито палачом и наймитом империализма, кибернетику — лженаукой, генетику — прислужницей фашизма, а творчество Шостаковича — сумбуром вместо музыки? Или народу для достижения его счастья крайне необходимы были вакханалии 37-го, 49-го и 52-го годов?

Остается повторить вопрос Салтыкова-Щедрина: разве где-нибудь написано: вменяется в обязанность быть во что бы то ни стало довольным?

А если не вменяется, то почему время от времени недовольные отправляются в отдаленные места? Потому, что именем народа говорят люди, считающие лучшим медицинским снадобьем бараний рог и ежовые рукавицы? Или потому, что, говоря словами того же автора «Убежища Монрепо», протест не согласуется с нашими традициями?

В этих случаях обычно возражают: мы судим не за убеждения, а за распространение клеветы. Стало быть, за два преступления: за то, что лжешь, клевещешь, и за то, что эту ложь делаешь общим достоянием. Против подсудности таких проступков не решился бы возражать ни один человек, тем более что на нашей памяти немало доказанной клеветы. В этом случае можно было бы ожидать какого-то судебного решения по поводу прозаика Ореста Мальцева и драматурга Мдивани: они рассказывали о связи Тито с фашистами; по поводу профессора Студитского, приобщившего к тем же фашистам учены-биологов; художников Кукрыниксы, журналистов Грибачева и Кононенко, обливавших грязью группу крупных советских врачей. Но названные лица поют благополучно новые песни, приспособленные к новым временам, народилась смена молодых и ретивых ненавистников, а на скамье подсудимых время от времени оказываются все те же люди, не укладывающиеся в традиции постоянного безудержного ликования.

Клеветать — на всех языках и во все времена означало говорить то, чего не было. А в ходе следствия ни один факт не был проверен и опровергнут. Основанием для приобщения нашей информации к разряду клеветнической послужил веский, проверенный временем аргумент: «Этого не может быть, потому что это невозможно».

Я отрицаю, что документы, которые я писал или подписывал, носили клеветнический характер. Я допускаю, что выводы, которые я делал, могут быть кому-то не по вкусу.

У меня не было, как мне кажется, никаких мотивов для распространения клеветы. Мне, я думаю, несвойственно общественное честолюбие, но если даже предположить, что я писал из политического тщеславия, то трудно логически увязать открытое, за личной подписью, обращение к общественности с извращением легко проверяемых фактов. Писать для того, чтобы себя компрометировать и при этом идти на многие жизненные неудобства — от потери работы до потери свободы — такое встречается, наверное, только в практике психиатров, а я, как видно из материалов дела, не входил в их клиентуру.

Что касается распространения, то тут я должен сказать следующее: убеждения, на мой взгляд, не только мысли, в которых человек убежден, но и мысли, в которых он убеждает. Доверительным шепотом, под сурдинку, сообщаются воровские замыслы или сплетни, но никак не открытые взгляды. И если речь шла только о том, давал ли я читать то, что писал и подписывал, то следствие могло и не утруждать себя: открыто подписанное обращение к общественности предполагает, что будет сделано все возможное, чтобы этот документ дошел до адресата.

Я считал и считаю, что писал правду, хотя и не исключаю возможности какой-нибудь частной оговорки. Больше того, я считаю, что документы, которые здесь называются клеветническими, охватывают далеко не все претензии, которые могут быть у моих сограждан и у меня: чувство реальности удерживало меня от того, чтобы затрагивать вопросы, не поддающиеся простому решению или выходящие за пределы моей компетенции. Факты, которые я считал нужным довести до сведения моих соотечественников, казались мне вопиющими, и умолчание в некоторых случаях было для меня равносильно соучастию.

Я не выдумывал псевдонимов, не прятал бумаги в подпол, так как был уверен в своей правоте и правдивости. Я и сейчас считаю необходимым доказать, что документы, написанные и подписанные мной, продиктованы чувством

справедливости и преследовали одну-единственную цель — устранить все, что мешает ее торжеству.

Во многих документах, автором или соавтором которых я себя считаю, поднимался вопрос о том, что в практике общественной жизни последнего времени прослеживаются тревожные аналогии со временем так называемого «культа личности».

В ходе следствия следователь выдвинул возражение, которое кажется мне симптоматичным. Оно сводилось примерно к следующему: вот вы говорите все: «сталинизм», «сталинизм»,— а вас никто не пытает, не допрашивает ночами, позволяют не отвечать на вопросы и так далее. Если понимать сталинизм таким образом, то заявление о симптоматичности действительно выглядит сильным преувеличением. Но я считаю ежовское варварство крайностью сталинизма. Без него он выглядел бы менее жестоким и кровавым, но все равно оставался бы антигуманным и тираническим явлением XX века. Я далек от того, чтобы проводить какие-то параллели, но я считаю нужным напомнить, что итальянский и румынский фашизм обошелся без «ночей длинных ножей» и без Освенцима, но не перестал быть фашизмом. Для меня, да и, насколько я знаю, для многих, то, что условно называется сталинизмом, охватывает целый круг социальных аномалий.

Прежде всего сталинизм — это вечно указующий и вечно грозящий перст в сложной и противоречивой области мысли, убеждения, творчества.

В документах говорится о том, что в последнее время вокруг развенчанной фигуры Сталина появился ореол, и этому способствует, к сожалению, позиция наших крупных журналов, издательств и даже государственных деятелей. Если бы это была точка зрения, существующая равноправно с противоположной, то это могло бы вызвать досаду — и только. Но, по существующей традиции, некоторые органы печати представляют собой род кумирни, обладают правом единственного слова, и позиция журнала «Коммунист» или издательства «Мысль» безоговорочно исключают иную точку зрения, даже если мысли официальной печати противоречат их собственной недавней позиции. Так оно и случилось, и в свет стали выходить одна за другой работы, доказывающие прозорливость и мудрость Сталина. Это привело, конечно, сразу же к автоматическому забвению других авторитетных работ, в которых доказывалось, что и прозорливость, и мудрость часто изменяли Сталину самым роковым для страны образом. Была рассыпана книга бывшего наркома, изъята из библиотеки другая книга, в которой подводились итоги военных исследований за послесталинское десятилетие. В одном из журналов появились стихи, автор которых вожделенно тоскует по кинокартине «Падение Берлина», чуть ли не по воскрешению великого учителя, великого кормчего. Для этой пародии на романтическое ожидание, инда из гроба встанет император и на нем будет треугольная шляпа и серый парадный сюртук, для этих начисто лишенных художественности опусов Феликса Чуева о «нашем генералиссимусе» нашлась бумага и место — для «Реквиема« или «Воронежских тетрадей» их не нашлось.

В конце концов недостаток мудрости, хотя бы такой зафиксированный не так давно недостаток, как «субъективизм руководства», может обернуться сильной, но поправимой бедой. Если даже допустить, что Сталин обладал всеми качествами крупного государственного деятеля, что действия его способствовали всеобщему благу, все равно от поклонения ему должны были бы удержать хотя бы соображения нравственной стерильности. Никакое количество стали на душу населения не может быть индульгенцией за душегубство, никакое материальное благосостояние не вернет жизнь 12 миллионам людей, и никакая зажиточность не сможет компенсировать свободу, достоинство, личную независимость.

Из всех эмигрантских публицистов (а среди них есть очень крупные фигуры) в последнее время очень сочувственно назывались в печати имена Питирима Сорокина и Соловейчика. Причина этой благосклонности в том, что они считают лучшей из свобод отсутствие безработицы. Если следовать этой бездуховной, прагматической точке зрения, если взять всерьез на вооружение саркастический совет великого русского писателя: какое основание прибегать к слову «свобода», коль скоро есть слова, вполне его заменяющие: улучшение быта,— да при этом закрыть глаза на действительные условия жизни сталинского времени,— Сталин как символ бараньего рога и дешевой водки может действительно показаться высшим воплощением государственной мудрости и справедливости. Но в этом случае расхожие лжеистины потеснят выстраданные цивилизацией представления о гуманности, в этом случае будет происходить постоянная утрата моральных прав, и если новым поколениям будет успешно внушено, что тридцатые годы — годы трудовых успехов и только, то кто сможет отказать другой стране в благоговейном воспоминании о времени, когда тоже с избытком хватало и силы, и веры, и почитания, и энтузиазма, и страха, и зрелищ, и стали на душу населения...

Во многих документах, написанных или подписанных мною, говорилось именно об этом. Понятие «сталинизм» расшифровывалось, и делалось это потому, что оценка Сталина представлялась мне и надо полагать и моим соавторам вопросом отнюдь не академическим. Архаический пласт, который, по наблюдению мудрых людей, всегда есть в любом обществе, чрезвычайно чувствителен к такой реабилитации изуверства и несвободы, какую неизбежно несет с собой реабилитация имени Сталина. Признать Сталина лицом положительным — это положительно оценить и навязанные им силой условия, это вообще коренным образом переоценить представления о человеческих взаимоотношениях в обществе, которые в робкой, недостаточной, противоречивой форме, но все-таки вырабатывались с 1956 по 1962 год. Что так оно и есть на самом деле, свидетельствуют многие факты: от окриков в адрес историков, писателей, режиссеров, «осмелившихся» отрицательно трактовать личность Ивана Грозного, до участившихся аргументов, оскорбляющих мое представление о человеческом достоинстве,— о победах при нем, о смерти с Его именем. Идолопоклонство это опасно тем, что оно автоматически ведет к представлению о непогрешимости всего происходившего и происходящего.

Мы писали о том, что сейчас, когда еще последствия сталинизма воспринимаются очень многими как личная трагедия, так называемая «объективность» его оценки не может не восприниматься как кощунство, как надругательство над его жертвами. Тем более что эта «объективность» самым магическим образом ни на кого, кроме Сталина, не распространяется, во всяком случае, она не распространяется на его оппонентов.

В связи со своими пристрастиями я особенно остро ощущаю несвободу в творческой и вообще гуманитарной деятельности.

В одном из наших документов говорилось о том, что временщики портят жизнь и условия работы деятелям культуры, диктуют в императивной форме всем без исключения свои вкусы. В этом непрошеном, злом и невежественном посредничестве я усматриваю одно из самых характерных проявлений сталинизма, и как бы резко ни звучало слово «временщик», и как бы категорически ни выглядело это утверждение, я, к моему глубокому сожалению, не могу снять его. Мартирологи самых талантливых людей нашей страны — Бабеля, Прокофьева, Зощенко, Платонова, Ивана Катаева, Ахматовой, Мандельштама, Петрова-Водкина, Фалька, Заболоцкого, Булгакова — мешают мне отказаться от этого утверждения. Мне трудно забыть, как в уже новые, внушавшие мне некоторые иллюзии времена один временщик выгонял из страны, как из своей вотчины, ее гордость — Бориса Пастернака, а другой с апломбом преподавал азбуку живописи виднейшим советским художникам. И как же не временщики — это люди, затерявшиеся сейчас в списках номенклатурных лиц... Сейчас ясно, что пребывание Семичастного не оставило неизгладимого следа в истории нашего молодежного движения, но в свое время он был наделен полномочиями говорить от имени всей молодежи и даже от всего народа. Разруганные в 1962—1963 годах картины сейчас висят в Третьяковской галерее, но практика непререкаемого чиновничьего суждения осталась неизменной. Запреты изданий, выставок, спектаклей и кинокартин, запреты, большей частью не поддающиеся никакому логическому объяснению, показывают, что эта чиновничья забота об искусстве целиком и полностью укладывается в нехитрый, но вечный прием будочника Мымрецова: «Тащить и не пущать».

Люди, любящие искусство, не склонны видеть политическое событие в явлениях чисто художественных, и политическую сенсацию вокруг имени очень большого современного писателя делают не читатели, а те, кто, не брезгуя действительной, а не мнимой клеветой, льют потоки неудержимой брани на это творчество. Особенно грустно, что это ненавистничество культивируется зачастую печально знакомыми лицами. Закон, по которому может быть тема колхозная или военная, но не может быть темы лагерной, придуман теми, кто, кажется, рад был бы из всей живописи оставить картину «Сталин и Ворошилов в Кремле», а из всей литературы — стихи о зоркоглазом и мудром наркоме Ежове и пьесы о происках космополитов.

Культ Сталина — это не просто вздорное языческое суеверие. За этим стоит опасность торжества мифической фикции, за этим стоит оправдание человеческих жертвоприношений, ловкая подмена понятия свободы понятием быта. Оправдать исторически зачастую означало сделать это эталоном своего времени. Сталину понадобилось возвысить Ивана Грозного, сейчас кому-то понадобилось возвысить Сталина — сравнение слишком бросается в глаза, и не говорить об этом невозможно.

Подавляющее большинство инкриминируемых мне документов — протест против осуждения людей по политическим мотивам. И это не случайно.

В деле есть свидетельства моего оптимистического настроения во время XXII съезда. Напоминая об этом, я ни в коем случае не хочу подчеркивать свою лояльность. Истина требует честного признания, что эти настроения — следствие присущей мне восторженности и склонности к иллюзиям. Если я говорю об этом, то только для того, чтобы объяснить, почему я писал и подписывал такие письма, хотя заведомо знал безнадежность таких действий.

Я не хотел и не хочу оказаться в положении людей предшествующих поколений, которые не заметили исчезновения десятка миллионов своих сограждан. Я убедился в том, что короткая историческая память и постоянная готовность к ликованию — лучшая почва для произвола и что названные миллионы в конечном счете слагались из тех единиц соседей, сослуживцев, добрых знакомых, которых ежедневно теряли взрослые люди 37-го года.

Подмена полемики репрессиями — факт не только частного истязательства, конкретной несправедливости, что важно в первую очередь, но потенциальная возможность новых массовых аутодафе, общей атмосферы немоты, страха и взвинченного энтузиазма. Я очень могу понять, что многие не разделяют взглядов Гинзбурга, Яхимовича, Богораз или Григоренко, но слово есть слово, и подменять спор тюрьмой — это значит бросать вызов людям, остро почувствовавшим жуткое каннибальство нашего века, и постоянно напоминать им о его каждодневной возможности.

Нелишне напоминать также, что эти аресты неизбежно влекут за собой грубые процессуальные нарушения, соглядатайство, доносительство, диффамации в прессе, что в самом деле понастоящему порочит наш государственный и общественный строй.

В обвинительном заключении приведено место из одного из таких писем: «Мы никогда не примиримся с репрессивными акциями, направленными на ущемление законных прав и достоинства наших сограждан». Я и сейчас стою на том, и если усталость или чувство безнадежности заставит меня когда-нибудь решиться на пилатство — я перестану уважать себя. Есть такой способ общественного существования: «Плюнь и поцелуй злодею ручку». Но тусклая философия дядьки Савельича, кажется, никогда не считалась примером, достойным подражания. И я надеюсь, что меня минует судьба ее проповедника.

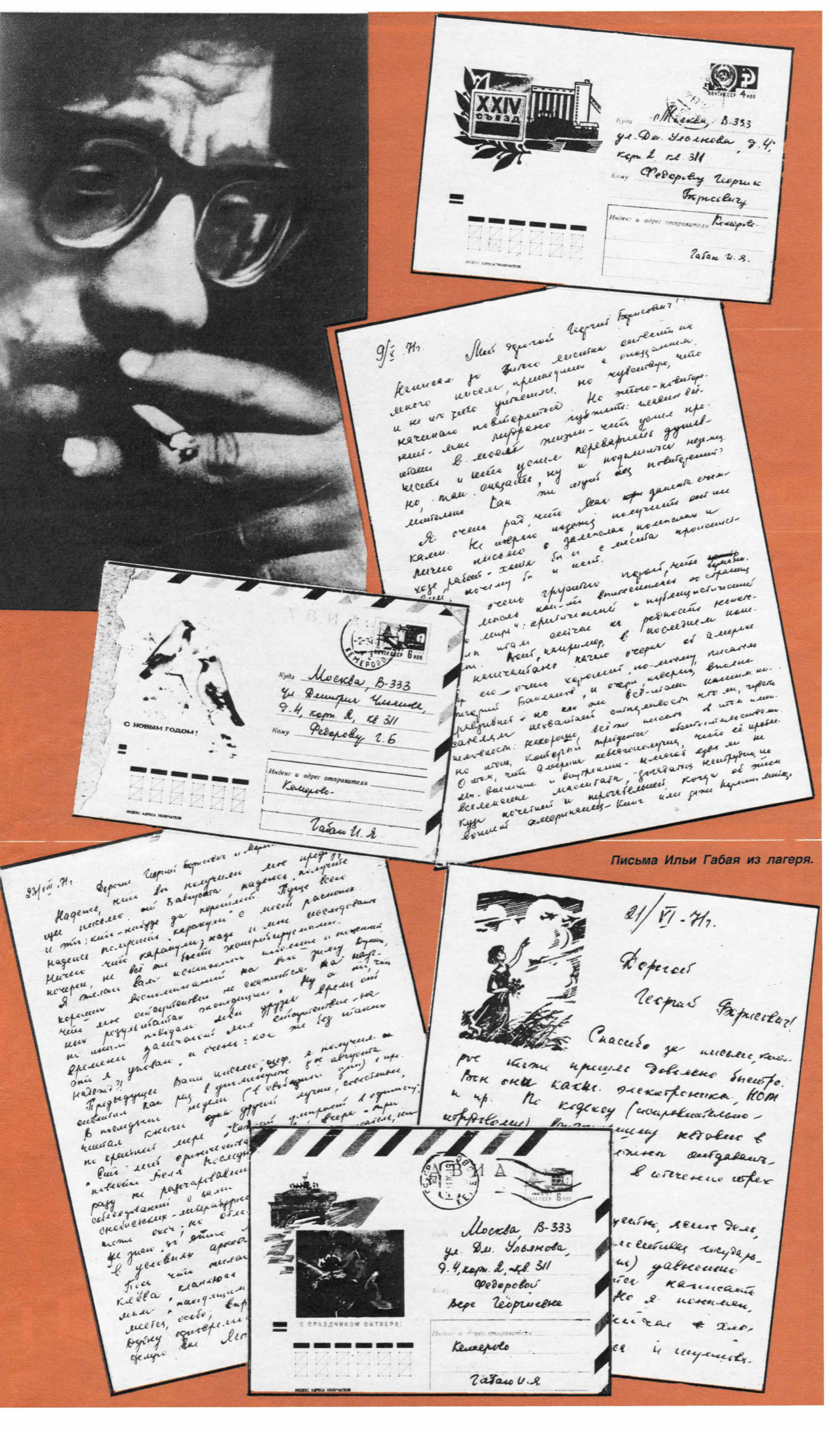
Я должен специально остановиться на своих заметках «Еще и еще раз» и «Возле закрытых дверей суда», которые с разных сторон затрагивают важный для меня вопрос о том, что такое общественное мнение. Обе заметки — отклики на арест и потом на осуждение группы демонстрантов. Эти люди, как написано в заметках, выступили против произвола сильной державы и убедили меня еще раз во мнении, что истина подтверждается не массовыми собраниями, что она не может быть выведена никаким организованным количественным подсчетом.

Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Я не ставил своей целью противопоставить интеллигентов народу, культивировать глубоко чуждое мне высокомерие. Я просто писал о том, что действия 5 людей, обладающих, с одной стороны, твердым знанием существа дела, и с другой — мужеством поступать в соответствии с этим знанием и убеждением, вытекающим из него, а не применительно к обстановке, выражают действительную позицию общественности.

Герцен в статье «Концы и начала» с горечью писал об интеллигентах, независимых в своем кабинете и благоразумных на площади, и я мог гордиться своими согражданами, которые перешагнули через эту постыдную храбрость под сурдинку. Конечно, действия Бабицкого, Богораз и других предполагают некоторую пустынность и обреченность, но это никогда не означало неправоту. За этим стоят убеждения многих людей, которые по тем или иным причинам не могли перешагнуть через «благоразумие на площади».

Когда в той же статье Герцен писал, что за эту чечевичную похлебку (имеется в виду известная степень комфорта и безопасности) мы уступаем долю человеческого достоинства, долю сострадания к ближнему, то эти слова, на мой взгляд, были скорее чем упреком проникнуты горечью бессилия. Я отлично понимал, что действия моих знакомых были близки к самозакланию, что гораздо более невинные поступки (например, письма в государственные организации) приводили их авторов к катастрофическим последствиям.

«Дорогой ценой приходится платить нашим согражданам за каждый шаг честной мысли»,— писал я в одной из заметок, ссылаясь, в частности, на массовые увольнения людей за подписи. Приводимый с легкостью в действие известный механизм замены специалистов кантонистами прямо способствует фальсификации общественного мнения. Репрессии принуждают к немоте, и то-



Письма Ильи Габая из лагеря.

гда успешно срабатывает ставка на неосведомленность и готовность к скоропалительным со шпаргалками выводам. А выводы эти частенько имеют далекие последствия. У меня долго хранилась газета 1936 года. Шел в это время процесс Смирнова, Эйсмонта и других, и рабочие ряда заводов требовали смертной казни этим ныне полностью оправданным людям. Спекуляция на словах «рабочий», «народ» и тому подобных развязывает в известных случаях темную стихию классового чванства. В более или менее безобидных случаях это выражается в том, что работница швейной фабрики в 1963 году учила поэтов писать стихи так, как это делает она,— газета «Вечерняя Москва» предоставила ей трибуну. В менее безобидных они выступают на процессе ленинградского поэта как глас народа и говорят буквально следующее: «Мы не читали стихов такого-то поэта, но требуем сурового наказания за их содержание». Откликаясь на лживую статью, пишут, в частности, в газету: «Мы прочитали вашу статью и возмущены тем, что таким-то преступникам вынесли слишком мягкий приговор». К дежурным речам и письмам, как правило, в таких случаях примешиваются действия из откровенно хулиганских побуждений. В частности, я сообщал, что избиение одного из участников демонстрации 25 августа сопровождалось антисемитскими выкликами, что письма к Литвинову включали в свое число и безграмотную мешанину грязных подзаборных ругательств с отборной черносотенной терминологией. Так как точка зрения этих людей совпадала с общепринятой, я имел право писать о патриотизме в лучших традициях дореволюционного черносотенства. Включение этих слов в обвинительное заключение без упоминания контекста выглядит прямой диффамацией.

Великий немецкий писатель Томас Манн писал: мы знаем, что обращаться к массе как к народу — это толкнуть ее на злое мракобесие. Истинность этих слов подтвердилась в дни судебного процесса Бабицкого и других, и этому посвящены заметки «Возле закрытых дверей...», предвзято истолкованные в обвинительном заключении. Речь шла о бесчинствах людей, которые должны были своей массовостью разыграть общественное мнение. Эти бесчинства были организованы на наших глазах спецработниками, и это не единственный пример не очень благородных и чистоплотных действий людей этой профессии.

Т. Манн писал в том же романе «Доктор Фаустус»: чего только не совершалось на наших глазах и не наших глазах именем народа! Именем Бога, именем человечества или права такое бы не совершилось. История нашей страны знает немало подтверждений этих выстраданных слов. Действия организованной толпы в те дни заставили меня вспомнить позабытое слово «чернь» и укрепили меня в мнении, что истинность убеждений не может проверяться их распространенностью, что убеждения масс часто бывают не только досадными заблуждениями, но и внушенными предубеждениями.

В заметке приведены слова Чаадаева: здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл... не в людской толпе рождаются истины. Напомнив еще раз о своем разъяснении, какой смысл я вкладываю в этом случае в слово «народ», я хочу сказать следующее: эти слова относятся не только к документу «Возле закрытых дверей...», а ко всему, о чем здесь говорилось и за что меня судят.

Сознание своей невиновности, убежденность в своей правоте исключают для меня возможность просить о смягчении приговора. Я верю в конечное торжество справедливости и здравого смысла и уверен, что приговор рано или поздно будет отменен временем.

Ташкент, 19 января 1970 г.

Исчезают парадные плакаты и лозунги, и становится видна наша жизнь, как она есть. Впору схватиться за голову, потому что обнаружатся странности и несообразности, вовсе, как казалось в пору стройных рядов и продолжительных аплодисментов, не свойственные нам. Да разве были у нас в ту пору нищие, гадалки, разве проводили старушки время за игрой в карты? Видели вы что-нибудь подобное в наших газетах и журналах? Настало время заглядывать не только в первоисточники, но в людские лица. Показывать жизнь, как она есть. Расставлять знаки не только восклицательные, но и вопросительные.

Ваша дама бита.

Вопросы к себе.

...Генералом будешь!

Лакомый кусочек.

Мирская суета.

Фото В. ЛАРИОНОВА
и Г. ПИНХАСОВА

Фотоконкурс

Себастьен ЖАПРИЗО

Роман

СПАЛЬНОЕ МЕСТО № 000

— Грацци? Это Жуи. С тобой хотят говорить из Марселя.

— Что там такое?

— Да кто-то.

— Займись им. Я занят девочкой.

— Он хочет говорить только с тобой.

— Переключи его на себя, ладно?

— Жорж? Жуи у телефона. Что говорит человек из Марселя?

— Говорит, что вы дерьмо, это слышно отчетливее всего. Мне кажется, это мальчишка. Говорит, что у него нет денег для разговора. Хочет, чтобы Грацци вызвал его. Он ждет в баре Марселя. Говорит, Грацци поймет в каком.

— Переключи его на меня.

— Он повесил трубку.

— Жуи? Это Грацци. Кто вызывал из Марселя?

— Только что? Мальчик. Хочет, чтобы ты связался с ним. Говорит, ты, мол, поймешь.

— Назвал себя?

— Если бы я стал записывать все имена детективов-любителей, которые звонят с самого утра, то у меня исписалась бы ручка.

— Давно звонил?

— Десять минут назад, ну, с четверть часа.

— Я с девочкой в кабинете патрона. Соедини меня с баром. Потом свяжись с префектурой Марселя, чтобы не упустили мальчишку, когда он повесит трубку. Затем найди мне Парди, пусть он скорее разыщет патрона.

— Так серьезно?

— Делай, что тебе сказали.

— Вы Даниель?

— Да, вы меня слышите?

— Что вы делаете в Марселе?

— Это слишком долго объяснять. Где Бэмби?

— Кто?

— Мадемуазель Бомба̀, Бенжамин Бомба̀. Я знаю, что вы можете ее найти.

— Да? Я тоже, представьте себе. Что вы делаете в этом баре?

— Вы знаете, где она?

— Она здесь.

— С вами?

— Со мной. Перестаньте орать. Что вы делаете в этом баре?

— Слишком долго объяснять.

— У меня полно времени, дурила! За разговор платим мы. Я думал, вы вернулись в Ниццу.

— Вы знаете, кто я?

— Если бы я не знал, значит, был бы глухой! В течение трех четвертей часа я только и слышу про ваши глупости.

Окончание. См. «Огонек» №№ 15—20

— Как она?

— Прекрасно! Сидит передо мной по другую сторону стола, обхватив голову руками, и заливает слезами папки комиссара. Теперь с ней ничего не случится! Теперь вы, дурила, беспокоите меня. Так вы скажете, что вы делаете в Марселе?

— Я тут из-за забастовки.

— Какой такой забастовки?

— Железнодорожников, представьте себе.

— Сегодня что за день?

— Вторник, а что?

— Это я не вам говорю! Перестаньте орать! Ладно, забастовка. Значит, так, спокойно все расскажите, что вы делаете в Марселе. Без крика.

— Я не кричу. Я в Марселе и не могу продолжать свой путь из-за забастовки.

— Поезд, на котором вы уехали вчера вечером, уже пять часов как прибыл в Ниццу. Вы что, смеетесь надо мной?

— Я приехал в Марсель другим поездом. Я вышел сначала в Дижоне.

— Почему?

— Вы все равно не поймете.

— Да вы будете, черт вас возьми, отвечать на мои вопросы? Тогда поймете, в курсе ли я. Вы хотели вернуться?

— Она подумала, что я так сделаю?

— Да, она так подумала! Она так и подумала, когда пришла домой. В комнате был свет. Только ждали ее не вы, а девчонка, которая принесла ей сумочку и которую отблагодарили за это пулей в череп! Игра окончена! Все именно так! Ясно вам?

— Они еще кого-то убили?

— Малышку Сандрину. Почему вы сказали «они»?

— Потому, что их двое.

— Это вы и поняли вчера вечером, когда увидели свою подружку на вокзале?

— Тогда я еще ничего не понял.

— Тем не менее вы поняли, что убьют еще кого-то. Вы же так сказали!

— Этот кто-то был я сам! Я понял, что они ищут меня.

— Вы знали, кто?

— Нет. Только прочитав утром в Марселе газету, я понял. Я должен был догадаться раньше, но тогда и вы тоже!

— Вы, должно быть, лучше нас информированы, вот за что я вас готов удушить, дурак вы эдакий! Почему вы сразу не пришли сказать, что вы знаете?

— Я не хотел неприятностей. Я видел мертвую женщину. Спустя некоторое время ее обнаружил еще кто-то. Я не хотел неприятностей. Это меня не касалось.

— Я говорю не о субботе. О вчерашнем дне, когда вы уже знали то, что нам было неизвестно, а вы решили поспешно вернуться к папе.

— Я не знал, что они убьют еще кого-то. Я знал, что они ищут меня, меня — и все. В поезде я все обдумал. И решил, что если уеду подальше от Бэмби, ее не тронут. Но потом подумал, что все равно они возьмутся за Бэмби, и захотел вернуться. Но до утра из Дижона нельзя было добраться до Парижа. А утром началась забастовка. Я решил ехать в Ниццу, у меня был билет, я думал, что папе все это больше с руки, чем мне. Папа — адвокат.

— Знаю. Значит, вы поехали в Ниццу. Зачем же вы сошли в Марселе?

— Потому что увидел газеты на перроне. Тогда-то я все и понял. Вчера вечером я ничего не знал об этой истории с лотерейным билетом и с номерами новых купюр. И об убийствах.

— Вы следили за Кабуром в первый вечер. Вы не знали, что он убит?

— Да нет же! Я следил за Кабуром, затем за полицией, вами и этим типом в куртке, а потом за Гранденом. Непонятно? Я шел по следам то одних, то других, а это, знаете, похоже на «догонялку».

— Что-что?

— Догонялка. Знаете, есть игрушка догонялка — лошадки бегают друг за другом. По манежу. Я бежал за одним, а тот за мной. А потом я ошибся. Сегодня, прочитав газеты, я узнал, что догонялка разладилась, что одна из лошадок побежала в противоположную сторону. Тогда я пошел здесь в табачную лавку, чтобы убедиться в том, что теперь не ошибаюсь. И узнал, что вы разыскиваете официанта Роже Трамони. Значит, все произошло так, как я и думал. А так как Роже Трамони, вероятно, мертв, вы зря теряете время.

— Это мы знаем.

— Он умер?

— Умер. Еще в субботу. Его сбросили в Сену. Почему вы следили за мной? Почему вы следили за Гранденом?

— Где Бэмби?

— Со мной, я вам сказал! Черт вас побери, вы будете слушать?

— Кто там еще с вами? Где вы?

— То есть, как это — где я?

— Я думаю вот о чем. Если он ошибся вчера вечером и убил Сандрину, думая, что это Бэмби, то он знает, кто настоящая Бэмби!

— Как это?

— Где вы?

— В кабинете комиссара! Набережная Орфевр. Она ничем не рискует!

— Не знаю. Он безумен.

— Кто? Гранден?

— Нет, другой.

— Послушайте, окаянный, вы тип...

— Алло?

— Да.

— Алло! Вы меня слышите?

— Да. Слушай, малыш. Мне надо повесить трубку. Не двигайся с места. Я перезвоню. Ни с места.

— Инспектор!

— Да.

— Вы поняли?

— Да.

— Он здесь?

— Да.

— Он меня слышит?

— Да.

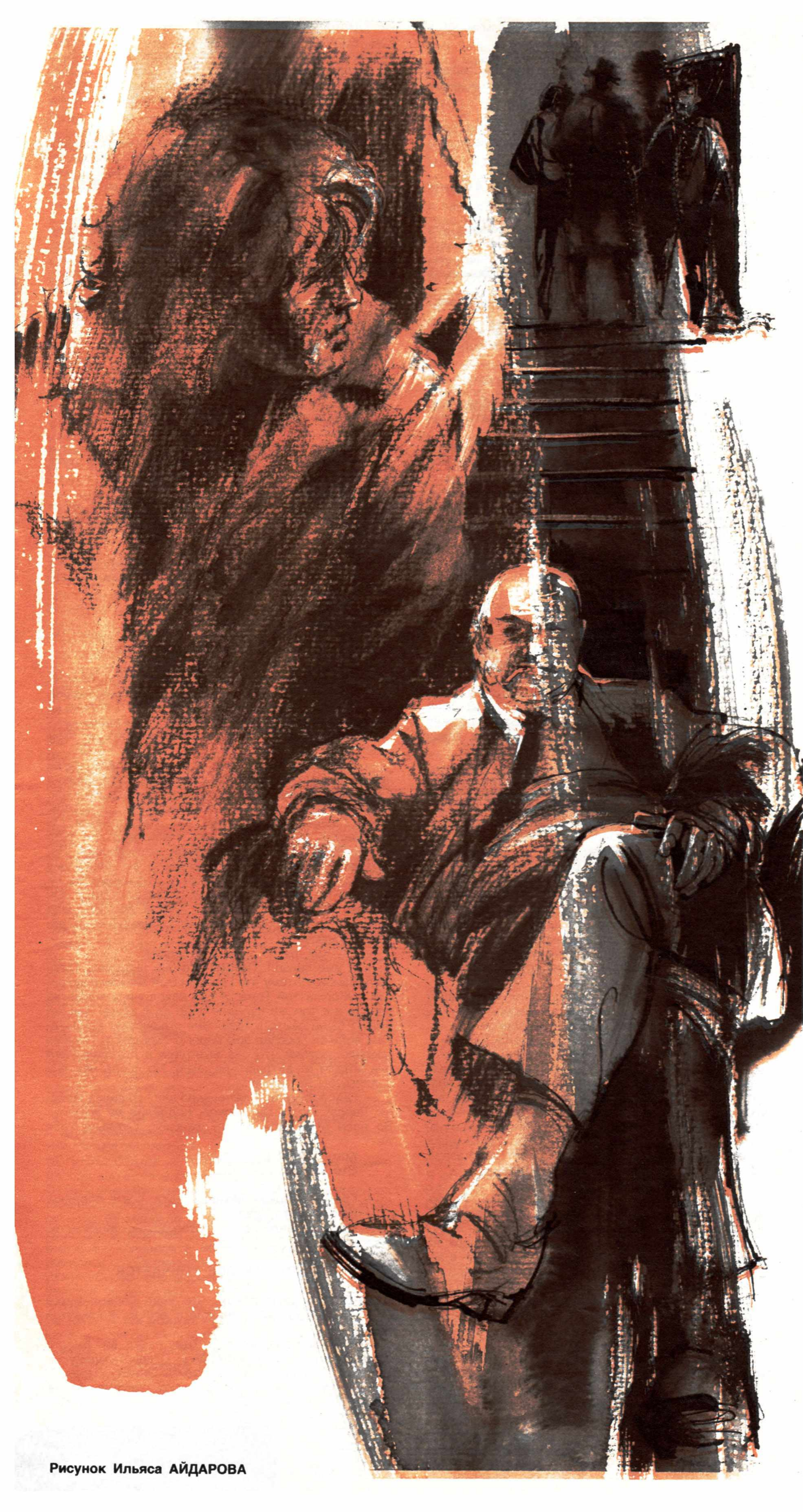


Рисунок Ильяса АЙДАРОВА

— Малле? Что нового?

— Не знаю, что и думать! Из банка сообщают, что они все сказали утром, когда он звонил по поводу чековой книжки.

— Ну и что?

— Элиана Даррэс выписала на прошлой неделе чек на 6 миллионов. Послушай, Грацци...

— Когда были получены деньги?

— В пятницу, в 11 часов.

— На чье имя?

— Рахиса Альфонса. Права на машину выданы в департаменте Сены. Есть номер. Жуи поехал проверить. Очень похож на Грандена. Ты уверен, что мы не делаем ошибки?

— Ничего не знаю.

— Грацци? Жуи говорит. Единственный Рахис Альфонс, получивший права на вождение машины, умер два года назад в тюрьме. Мошенничество и рак печени.

— Отлично. Он мог вытащить права из какого-нибудь дела или еще где-нибудь. И сменил фотографию.

— Патрон в курсе дела?

— Он только что прибыл. Фрегар тоже.

— Они нас прикроют?

— Теперь да.

— Инспектор Грацциано?

— Послушай, малыш, теперь я буду задавать вопросы. И ты будешь отвечать как можно точнее. Ясно?

— Как вы догадались?

— Я ни о чем не догадался. Ты испугался. Я задал себе вопрос, почему ты испугался. И подумал о револьвере. И еще о пропавшей чековой книжке. О том, что мне рассказала Бэмби. О том, как меня все время обгоняли. Теперь слушай меня. Я сижу за столом патрона. Патрон сидит тут же и слушает наш разговор. Рядом два инспектора, которые смотрят на меня круглыми глазами. Понимаешь, чем это чревато для всех, если ты ошибаешься?

— Я не ошибаюсь.

— Итак, рассказывай, что ты сделал, сойдя с поезда и взяв чемодан. Ты отправился вместе с Бэмби на улицу Бак. Начинай отсюда.

— Где он? Скажите мне.

— В соседнем кабинете. К Грандену отправились двое полицейских.

— Он не протестовал?

— Нет. Говорит, что все ерунда.

— Как его зовут?

— Габер. Жан-Луп Габер.

— Он носит шотландскую куртку, волосы густые, манеры девчонки? Это он был с вами?

— Да, он был со мной. Когда ты начал следить за нами? В субботу около двух-трех часов дня?

— Не помню. Мы поехали к Бэмби. Затем я ее оставил одну. Сначала отправился на Лионский вокзал, чтобы посмотреть там. Я забыл свой шарф в соседнем купе. Это мамин шарф. С видом Ниццы. Мне не хотелось, чтобы он вывел вас на меня. Но не посмел его затребовать.

— Секунду.

— Вы проверяете?

— Да. Продолжай. О чем ты тогда думал?

— Что вы арестовали преступника на месте. Не знаю почему, но у меня было такое впечатление. Я подумал, что это тот больной тип, которого я заметил в проходе. У меня были все основания думать, что его арестовали в купе. Только это был Габер.

— Давай по порядку. Говори спокойно. После Лионского вокзала ты отправился на набережную Орфевр, так?

— Да. Я долго шел пешком. Затем сел в автобус. Я видел, как вы вышли вместе с Габером. Вы поговорили с человеком под навесом. Таким же высоким, как вы. Я услышал, что вы едете на улицу Дюперре. Я хотел к вам подойти. А потом раздумал. Вы сели в машину и поехали. Я тоже отправился на улицу Дюперре. Я не знал номера дома, но увидел полицейскую машину на улице. И стал искать в соседних помещениях. Сам не знал, что ищу. В конце концов решил, что придумал кое-что получше. Я вспомнил о Кабуре. И нашел его.

— Почему?

— Не знаю. Он повздорил в поезде с умершей женщиной. Мне было досадно. Мне хотелось, кажется, что-нибудь сделать. Понимаете? Для меня это была единственная ниточка из клубка. Я слышал, как он рассказывал ей о своей работе в «Прожин». И стал искать эту контору. Я не знал, как его зовут — Лабур или Кабур. В поезде я не очень прислушивался. Я произнес по телефону «Господина... АБУР».

— Это ты звонил в «Прожин»?

— Да. Я зашел в кафе на улице Дюперре. И выпил Виандокс. В Тулузе, где я учусь, я часто пью Виандокс. Посмотрел телефонный справочник. У «Прожин» было с десяток адресов. Я позвонил в главную

контору, а потом обзвонил филиалы. И нашел его в третьем, на Алезиа. Сказал, что клиент, что готовлю деловые подарки к Рождеству.

— Знаю. Ты получил адрес. Продолжай.

— Я подумал, что у меня есть время. И опять пошел пешком. Затем сел в автобус. Его не было дома, но за дверью горел свет. Я стал ждать на тротуаре. Купил газету и узнал список пассажиров. И тогда понял, что утром ошибся, что убийцу не арестовали. Кабур не возвращался. Я был голоден, зашел в ресторан в его доме и съел бифштекс. Пока я ел, за окном появился Кабур, он посмотрел через стекла и внезапно пошел прочь. У меня едва хватило времени, чтобы рассчитаться, а он уже был в конце улицы. За ним кто-то шел. Полицейский в куртке. Потом Кабур побежал.

— В котором часу это было?

— Поздно. Часов в девять вечера.

— Ты следовал за ними до какого места?

— Я не пошел за ними. У вокзала, не знаю какого — недалеко от его дома,— Кабур сел в такси.

— В Париже полно вокзалов — это Восточный. Ты их потерял из виду?

— Нет. Габер взял следующее такси. Я считал, что все в порядке. Полиция следила за ним. А у меня не было денег. В Париже бифштекс стоит дорого. Я вернулся пешком и на автобусе к Бэмби. Затем нашел ее у Сандрины — она оставила мне записку.

— Хорошо. То, что ты делал на другой день, мне известно. Бэмби мне уже рассказала. Сначала утром вы пришли на набережную Орфевр. Вы хотели зайти и одновременно не хотели. Затем, около 11 часов, увидели выходившего Габера.

— Он сел в такси.

— И отправился на улицу Лафонтена к мадам Гароди. Вы последовали за ним на такси. Почему?

— Я подумал, что Кабур не мог быть убийцей. Я видел, как он ушел, пока я ждал Бэмби при выходе с перрона. Да к тому же он не был одним из тех, чей голос я слышал из соседнего купе. Зато мне казалось, что убийцей был человек, стоявший в проходе, больной, и что вы совершаете ошибку.

— Итак, вы с Бэмби последовали за Габером?

— Да. Сначала он заехал на улицу Дюперре. Я вышел из такси, но не успел подняться по лестнице за ним, как он выскочил из дома.

— О чем ты подумал?

— Ни о чем. Мы продолжали следить за ним. Он поехал на улицу Лафонтена. Там есть напротив дома бар — табачная лавка. Мы стали ждать. Через некоторое время он вошел в помещение, чтобы позвонить по телефону. В тот момент нас с Бэмби больше всего беспокоило, что вы делаете ошибку за ошибкой. Я прочитал имя на двери — Гароди. Эта неизвестная мне Гароди не могла находиться в купе, потому что я занимал ее спальное место.

— Знаем. Дальше.

— Мы продолжали следовать за Габером. Он вернулся на улицу Дюперре. По дороге мы его упустили, но он был там, когда мы приехали. Мы стояли с Бэмби в коридоре, не дыша, пока он спускался по лестнице с каким-то брюнетом. Потом я узнал, что того зовут Эрик Гранден. И он друг Жоржетты Тома.

— Внизу они расстались. Вы думали, что Габер занят своим делом. И вы продолжали следить за ним. Который был час?

— Час или два дня. Он снова сел в такси и отправился в Клиши. Бэмби начала ворчать, потому что такси стоило дорого.

— Вы приехали к Риволани?

— Да. Полицейский в куртке вошел в одну из улочек Клиши. Спустя четверть часа он вышел и снова сел в такси.

— Вы его потеряли. Вы тогда подумали, что он едет на Кэ или к другому свидетелю, и отказались от дальнейшей слежки.

— Мы поели в Клиши, а пока ели, просмотрели справочник и нашли адрес актрисы.

— И отправились в Трокадеро?

— Да.

— В тот момент ты еще не раздумал играть роль детектива?

— Нет.

— А когда вы попали в Венсенн?

— До этого. Правда. Мы отправились в Венсенн сначала. Мы столько мотались, что я уже запутался.

— Почему в Венсенн?

— Мы слышали, как об этом говорил Гранден, спускаясь по лестнице. Мне это показалось опасным и важным. Мне показалось, что Гранден хочет помочь полиции. Во всяком случае, Габеру. Он сказал, что будет в Венсенне к началу заезда. В Венсенне я оставил Бэмби перед входом, чтобы не платить за двоих. И увидел Грандена перед кассами.

— Что он делал?

— Играл. Я немного подождал, но ничего не произошло. Гранден снова вернулся к кассам, чтобы сделать ставку.

— Дальше, глупыш.

— Знаю. Но я держался достаточно далеко от него, и вокруг было много народа. Я ведь ничего не знал об этой истории с лотереей и новыми купюрами. В то утро я все понял.

— Дальше было Трокадеро?

— Да. Я увидел вас с Габером. Вы спустились, а Габер снова вернулся в дом, вы ждали его в машине. Бэмби сидела в чайной, она устала.

— И вы поехали за мной?

— Нет. Вы уехали с Габером. Бэмби была на грани нервного припадка. Мы все бросили. Отправились на набережную, а затем в ресторан.

— А на другой день, в понедельник?

— Бэмби пошла в контору. Я отправился в Трокадеро, чтобы поговорить с актрисой.

— Почему?

— Я бы ей все объяснил. А она бы рассказала, что знает и что мне неизвестно. Когда я туда пришел, перед дверью стояли полицейские. Я увидел, как прибежал Габер. И подумал, что вы арестовываете Элиану Даррэс.

— Ты думаешь, так просто арестовать человека? Когда столько полицейских вокруг?

— Если судить о том, сколько их тут сейчас находится около меня, именно так и думаю. Вы собираетесь арестовать меня?

— Да нет же! Они тут?

— Они тут.

— Не беспокойся. Расскажи, что ты обнаружил вчера днем, а я скажу, что ты должен делать дальше.

— Сначала вы. Я потом. Если вы намерены меня задержать, я ничего не скажу, пока не приедет мой отец.

— Послушай, малыш. Сейчас приведут Грандена. Габер в соседней комнате. Судя по тому, как на меня кругом все смотрят, он начисто все отрицает.

— Где Бэмби?

— Рядом, здесь. Ей дали огромный бутерброд с ветчиной. Она ест с большим аппетитом. Последуй ее примеру. Ты достаточно рассказал мне, но не все. Мы поговорим еще две минуты, а затем ты передашь трубку бригадиру. Когда я поговорю с ним, ты пойдешь за ним, куда он тебя поведет. Я позвоню туда позже. Ясно?

— Ладно. Но сообщите все же моему отцу.

— Мы это уже давно сделали, представь себе. Значит, вчера во второй половине дня...

— Бэмби вернулась в контору. У меня не было ключа, и я оставил комнату открытой. Было 13 часов 50 минут, или около этого. Потому что Бэмби должна была быть на месте к 14.15. И я пошел на улицу Дюперре.

— Почему?

— Потому что утром перед домом Элианы Даррэс я видел Грандена. Самым странным было то, что он прятался, как и я. В машине марки «дофин», которую поставил неподалеку. Мне даже кажется, что именно из этой машины вышел Габер.

— Улица Дюперре. Продолжай.

— Я стал подниматься. Вы были у Грандена. Я слышал ваш голос, стоя на площадке, не подходя к двери. Вы спросили: «Слышали ли вы о некоем Риволани и некоей Элиане Даррэс?» И он ответил «нет». Я ничего не понимал. Когда вы вышли, я едва успел спуститься на несколько маршей. Вы, вероятно, слышали мои шаги. Я предпочел сделать вид, что иду наверх. Вы спросили меня, не друг ли я Грандена.

— Значит, это ты — тот молодой парень в плаще?

— Да. Вы меня уже видели на набережной Орфевр или перед домом актрисы. Во всяком случае, вы мне подсказали одну мысль. Я пошел к Грандену. Я сказал ему, что учусь в Сорбонне, что хочу выпускать студенческую газету. Мы поговорили. Я сразу понял, что этот человек чего-то боится. Я был у него минут десять. Я задавал ему вопросы, которые его раздражали,— о его комнате, фотографиях животных. Я не решался заговорить об убийстве и почувствовал, что тоже боюсь. Я подумал, что если вдруг заговорю о поезде, то он должен будет рассказать, что произошло с одной из его приятельниц.

— И ты попробовал?

— Попробовал. Он ничего не рассказал. Напротив, сам начал мне задавать вопросы. Откуда я взялся, кто я такой, как узнал его адрес, где живу? Я ушел. Мне было страшно. Сам не знал отчего, но я понял это спустя несколько минут, когда сел в автобус, чтобы ехать к Бэмби. Он ехал за мной на своей машине. Я пересел на другой автобус, затем спустился в метро. Вернулся к Бэмби, взял чемодан и ушел подальше от улицы Бак. Я позвонил Бэмби из кафе Латинского квартала.

— Ладно, малыш. Давай бригадира.

— Вы не хотите знать, что я понял, когда прочитал сегодня газету?

— Кажется, теперь я и сам понял. Обещаю позвонить попозже. Будь благоразумен и ни о чем не беспокойся.

— Следователь Фрегар? Таркэн говорит.

— Что нового?

— Маленький Гранден долго не продержится. Он сдастся, когда увидит чек. Чек выписан почерком, который соответствует его собственному, поскольку всякий измененный почерк может быть установлен экспертизой. Подпись Элианы Даррэс неплохо подделана. Он, вероятно, долго практиковался до этого. Найдем еще какую-нибудь написанную им бумажку.

— Что дал обыск у Габера?

— Ничего. Это настоящий музей огнестрельного оружия. Но никаких следов ни нашего револьвера, ни денег. Установлено, что он сирота с 6 лет, что его воспитала в провинции тетка. Не знаю, почему все считали, что он сын крупной шишки.

— Кто его допрашивает?

— Грацци. Он хорошо знает Габера и свое дело тоже. Его отвезли в дом напротив Дворца правосудия, чтобы не было шума. Думаю, к вечеру я смогу кое-что сообщить газетам. Придется все это тонко и умело подать.

— Парди? Грацци у телефона. Ты вызвал людей из банка и с бегов?

— Да. Но Фрегару это ничего не даст. Они только наполовину уверены в том, что опознали Трамони.

— Пока с Жаном-Лупом меня сменили патрон и Аллуайо. Ты можешь прийти. Твоя очередь.

— Передаю его вам. Он вполне благоразумен.

— Даниель, это ты?

— Да. Они признались?

— Нет. Пока нет. Послушай, малыш, у меня только один вопрос. И я жду только один ответ.

— Где Бэмби?

— Пошла на работу. Должна прийти сюда вечером. Ты мне понадобишься тоже. Постараюсь это уладить. Ты меня слушаешь?

— Слушаю, инспектор, слушаю.

— Я не понимаю, почему Габер отпустил актрису с вокзала, а не убил ее в поезде. Можешь мне это как-то объяснить?

— Он не собирался убивать актрису.

— Так кого же? Жоржетту Тома?

— Нет. Жоржетта Тома была с ними заодно! Вы ничего не поняли. Они хотели убить Бэмби.

— А Бэмби тут при чем?

— Бэмби или кого-нибудь другого. Кого — не имело значения. Жоржетта Тома должна была задержать одного из пассажиров в купе. Любого, только не Элиану Даррэс. Убить же должен был Габер.

— Зачем Габеру было кого-то убивать в этом купе?

— В том-то вся и штука. Что вы сделали, когда нашли Жоржетту Тома? Вы начали расследование с нее. Затем убивают еще кого-то из того же купе. О чем вы думаете? Что убит мешающий свидетель. Ясно? Габеру ведь известно, как это делается. Он переместил роли. Ему нужно, чтобы жертвой стал кто угодно, лишь бы без всякой мотивировки. Настоящая ~~жертва становится~~ свидетелем, поскольку была в том же купе, и поиски в отношении ее не ведутся. Но Габер на этом не останавливается. Он убивает Кабура и Риволани, чтобы придать еще большую достоверность истории о мешающем свидетеле. Понимаете?

— Да. Как ты об этом догадался?

— Я уже сказал. Потому что они пытались удержать Бэмби. Потому что Гранден был знаком с актрисой и Жоржеттой Тома. И они находились в том же поезде и в том же купе, не зная друг друга. Как же можно было считать Риволани мешающим свидетелем, если он проспал всю дорогу? Жоржетте Тома не повезло, потому что она выиграла в лотерее. Чего они хотели от актрисы, не знаю. Но после нее они взялись бы за других.

— Они получили в пятницу по чеку со счета Элианы Даррэс шесть миллионов, подделав ее подпись. Во всем этом есть что-то ужасное. Сколько тебе лет?

— Кому? Мне? Шестнадцать.

— Это ужасно.

— Грацци? Таркэн. Можешь идти, все в порядке.

— Как вам это удалось?

— Мы показали ему фотографию Жоржетты. Мертвой.

А ВОТ КАК ВСЕ КОНЧАЕТСЯ

ВОПРОС. Ты сказал нам, что знал Габера много месяцев. Когда ты познакомил его с Жоржеттой Тома?

ОТВЕТ. Около двух месяцев тому назад. Мы вместе обедали в одном из ресторанов Старого рынка.

ВОПРОС. Когда вы решили убить Элиану Даррэс?

ОТВЕТ. Не сразу. Мы встречались несколько раз, и Жан-Луп рассказывал о своей профессии, о коллегах. Это была игра. И мы смеялись, потому что Жоржетта была наивна и ее легко бы поймали. В общем, так все и было. Однажды я им рассказал об Элиане Даррэс. Она ведь отдала мне свой ключ, и у нее были деньги.

ВОПРОС. Сколько времени ты не виделся с Элианой Даррэс?
ОТВЕТ. Несколько месяцев. Я знал, что она меня искала в бистро на площади Дантона, где мы познакомились, но я не ходил туда больше. С той историей все было покончено.
ВОПРОС. Кому принадлежит замысел?
ОТВЕТ. Всем троим. Каждый вносил в него свое, это ведь была игра. Потом Жан-Луп сказал, что раз план нами разработан, то глупо не привести его в исполнение. Тут я понял, что это серьезно, и испугался. Поговорил с Жоржеттой. Но она сказала: «Послушаем его. Ведь обязательств это на нас никаких не накладывает». Однажды мы пошли к нему в гости, к Аустерлицкому мосту. Он показал нам свои револьверы. Сказал, что у него есть и с глушителем. Мы, мол, ничем не рискуем, ведь он будет в курсе, когда станет поступать информация. В общем, все будет знать.
ВОПРОС. Мысль убить кого-либо до ограбления принадлежит ему?
ОТВЕТ. Он объяснил, что есть только одно идеальное преступление — немотивированное. Если в ходе расследования убивают двух свидетелей, в числе которых и тот человек, которого решено убить с самого начала, то нет никакого риска. Он, мол, знает тех, с кем работает. Они бросятся расследовать первое убийство и просто свяжут два других с первым. Первое же как раз будет немотивированным.
ВОПРОС. Значит, Габер предвидел три убийства? И ты не отступил?
ОТВЕТ. Не знаю. У меня было такое впечатление, что все это кем-то придумано. Первой начала колебаться Жоржетта. Мы объяснились с ней в тот вечер, когда вернулись домой. Мне казалось, что Жан-Луп прав. Ведь с той минуты, когда было решено убить одного, число убийств уже не имело значения. Я и сейчас так думаю.
ВОПРОС. Несмотря на убийство Риволани и маленькой Сандрины?
ОТВЕТ. Я же не знал тогда, кто это будет. И сейчас, когда я говорю, что число ничего не меняет, мои слова могут показаться абстрактными, я не вижу лиц. Я ведь никогда не видел ни Риволани, ни Кабура, ни девушки. Поэтому, видимо, у нас с Жоржеттой было такое ощущение, будто все это неправда.
ВОПРОС. Когда вы решили осуществить свой замысел?
ОТВЕТ. Когда я узнал, что Элиана едет на юг сниматься в фильме.
ВОПРОС. А когда ты это узнал?
ОТВЕТ. За два дня до ее отъезда. В тот же день я обнаружил у нее чековую книжку. За домом я следил давно. Когда она уходила, я открывал квартиру поддельным ключом. Но ничего не трогал. Только искал чековую книжку. Она никогда не оставляла ее дома. Но однажды, видимо, срочно убежала за покупками и не взяла сумочку. А там оказалась книжка и вызов на съемку. Я вырвал из нее чистый бланк, отрезал его лезвием. В момент расследования Жан-Луп должен был спрятать чековую книжку, чтобы ее не приобщили к делу.
ВОПРОС. Откуда ты знал, что у нее деньги на счету?
ОТВЕТ. В столе я видел листок с расчетами. Она была очень внимательна к своим расходам. Я проверил, не сняла ли она накануне со счета крупную сумму.
ВОПРОС. Когда ты заполнил чек?
ОТВЕТ. Это сделал не я, а Жоржетта. Мы трудились над этим два вечера. Подделывали подпись по образцу, найденному в старой ведомости.
ВОПРОС. Но подпись для банка могла быть другой.
ОТВЕТ. Мы шли на риск. Я должен был получить деньги в пятницу утром. Если бы это сорвалось, мы бы прекратили дело. Жан-Луп дал мне старые водительские права на имя Рахиса. Фото мы переклеили. В банке пришлось ждать довольно долго, но в конце концов все выплатили.
ВОПРОС. Откуда вы узнали, каким поездом Элиана Даррэс вернется в Париж?
ОТВЕТ. Жан-Луп для какого-то дела запросил список пассажиров, забронировавших места в поездах и самолетах из Марселя и Ниццы. Мы считали, что она пробудет в Марселе до среды или четверга. Ведь вызов ее кончался в среду. Жоржетта без труда добилась у «Барлена» командировки в Марсель.
ВОПРОС. Вы предупредили ее, чтобы она взяла билет в то же купе?
ОТВЕТ. Нет. Но не знаю, почему она оказалась в том же купе. А так должна была просто ехать в том же вагоне. Если бы ей пришлось вернуться в четверг, то сказала бы, что простудилась.
ВОПРОС. Ты думаешь, она нарочно взяла билет в то же купе?
ОТВЕТ. Выиграв в лотерее, она решила все прекратить. Но забыла, что в пятницу я уже получил деньги по чеку. Ее телеграмму мне доставили только в пятницу.
ВОПРОС. Почему она решила все прекратить? Почему предпочла шести миллионам 700 тысяч?
ОТВЕТ. Надо было знать Жоржетту. Выиграй она даже половину, четверть, десятую долю этой суммы, она бы все равно приняла это за знак судьбы. Поэтому и хотела все прекратить. Она ведь еще ни разу ничего не выигрывала.
ВОПРОС. Ты помнишь текст телеграммы?
ОТВЕТ. Да. «План невозможен. Объясню. Жоржетта». Я было подумал, что она сдрейфила. Но ведь я получил телеграмму лишь в пятницу, уже вернувшись из банка.
ВОПРОС. Она, должно быть, послала ее немедленно. Но это мы узнаем.
ОТВЕТ. Телеграмма отправлена на Дюпон-Латен, я там оставляю вещи в камере хранения. Я зашел туда только в пятницу вечером.
ВОПРОС. Это там вы оставили деньги? И револьвер?
ОТВЕТ. Да, в чемодане Жана-Лупа.
ВОПРОС. Допустим, Жоржетта Тома в состоянии волнения и надеясь, что успеет что-то сделать, сумела заказать место в том же купе, что и Элиана Даррэс. Вы узнали об этом до ее возвращения?
ОТВЕТ. Нет. Не я. Жан-Луп по списку брони. Она это, вероятно, сделала для того, чтобы тот все понял и испугался. Не могло быть и речи, чтобы кто-то из нас проходил свидетелем по делу.
ВОПРОС. Но, приехав, она попыталась все же удержать девочку из Авиньона. Как ты это объяснишь?
ОТВЕТ. Никак. Такой уж она была. Думаю, в последнюю минуту она испугалась, что по ее вине нас могут схватить.
ВОПРОС. Когда ты узнал, что ее убили?
ОТВЕТ. Когда приехал Жан-Луп, часов в 11. Мы должны были встретиться у него. Жан-Луп только что вернулся с вокзала после первых принятых полицией мер. Трамони остался запертым в квартире. Жан-Луп сказал, что мы поделимся. Меня это совсем сразило, я никак не реагировал.
ВОПРОС. Каким образом Габер смог увезти с собой Трамони?
ОТВЕТ. У него была машина Жоржетты. Он его арестовал, сказав, что если тот не станет шуметь, то попробует его спасти. Трамони был жалким трусом.
ВОПРОС. Когда вы его убили?
ОТВЕТ. По возвращении с улицы Круа-де-Пети-Шан. Я не знал, что Жан-Луп его убьет. Мне казалось, что смерти Жоржетты достаточно. В квартире у Аустерлицкого моста он вынул револьвер и глушитель. Трамони считал билеты, он даже не заметил, как в него выстрелили. Мы положили тело под кровать. А ночью часа в два-три увезли на машине. И сбросили в Сену у набережной Рапе.
ВОПРОС. Затем вы убили Элиану Даррэс, когда получили по ее чеку. Но зачем Кабура?
ОТВЕТ. Жан-Луп сказал, что надо действовать по плану. И говорил: «Мы утопим рыбку». Позднее он признался, что сделал ошибку, что у него неприятности.
ВОПРОС. Он узнал, что кто-то слышал про то, как он увез Трамони, что кто-то оказался в соседнем купе?
ОТВЕТ. Да. Он знал, что это один из свидетелей, но не понимал, кто именно. Сообразил, лишь когда мы вместе вернулись на Лионский вокзал и он увидел в купе чей-то чемодан. Он подумал, что у Жоржетты было два чемодана. А если кто-то уже входил в купе до служащего железных дорог, значит, мог его увидеть. Этим человеком оказался один из пассажиров купе, он ведь забрал свой чемодан.
ВОПРОС. И все?
ОТВЕТ. В дороге произошел непредвиденный случай. Ссора с Кабуром. О ней нам рассказал Трамони. Кабур сам сообщил вам вечером по телефону свой адрес. Тогда Жан-Луп сказал, что рисковать нельзя. Последовал за ним и убил в «Центральном» после антракта. Но я узнал об этом только на следующий день.
ВОПРОС. Кто придумал трюк с лифтом?
ОТВЕТ. Я. Однажды Элиана заставила меня долго ждать на тротуаре, и я решил посмеяться над ней. Я объяснил Жану-Лупу, как это делается.
ВОПРОС. Это не ты убил Элиану Даррэс?
ОТВЕТ. Я никого не убивал. Я не знал, как все прекратить. Но Жан-Луп утверждал, что это необходимо. После Трамони он только об этом и думал. Говорил, что после первого раза все очень просто. О том, что убит Риволани, я узнал из сегодняшних утренних газет. Вы же мне сообщили, что он убил и девушку.
ВОПРОС. Когда Габер узнал, что мадам Гароди не было в поезде?
ОТВЕТ. С самого начала. Это ведь он говорил с контролерами в первый день. Они вычеркивают имена пассажиров из списка. Мадам Гароди не была вычеркнута. Жан-Луп промолчал об этом. Допрашивая мадам Гароди, он знал, что она лжет, однако, утверждая, что была в купе, она еще больше все запутывала.
ВОПРОС. Габер знал также, что кто-то занимал ее полку. Это не беспокоило его?
ОТВЕТ. Конечно. Его беспокоили и другие вещи. Глупость Трамони. Его слишком многие видели в поезде. Потом он обнаружил у Жоржетты лотерейный билет в пустой пачке из-под аспирина. Мы узнали из показаний свидетелей, что Жоржетта вынула его из чемодана. Она, видимо, решила держать его при себе. Такая уж она была. А Трамони не нашел ничего лучшего, как положить пустой тюбик обратно в чемодан. Жан-Луп говорил, что в результате таких глупостей и можно попасться.
ВОПРОС. Трамони сказал, как он узнал о выигрыше?
ОТВЕТ. Это кретин. Когда я увидел его у Жана-Лупа, он дрожал как осиновый лист. Признался, что только хотел отобрать у нее билет. А потом испугался, что она закричит. Он записывал все номера проданных билетов. А так как она не сказала о выигрыше, то подумал, что еще ничего не знает. Тогда он взял отпуск и последовал за ней в Париж. Просто понять не могу, как он собирался выйти сухим из воды после ее убийства. Нет, это был круглый идиот.
ВОПРОС. А как вы собирались выйти сухим из воды?
ОТВЕТ. Не знаю, я рассчитывал на Жана-Лупа. Когда мы обсуждали, все казалось так просто. Мы ведь не видели лиц. Я даже не видел револьвера, пока он не показал его мне.
ВОПРОС. Почему ты его ненавидишь?
ОТВЕТ. Я не ненавижу его.
ВОПРОС. Почему же ты валишь все на него?
ОТВЕТ. Потому что все это теперь не имеет значения. Потому что ничего не изменится. Потому что, когда он появился в поезде, по чеку уже было получено. Если бы это не сделал Трамони, он бы сам убил Жоржетту. Я уверен. **Ему нужно было кого-то убить.**
ВОПРОС. Какую цель преследовал ваш план?
ОТВЕТ. Не понимаю вопроса.
ВОПРОС. Зачем вы все это сделали?
ОТВЕТ. Я не знаю. Мы хотели уехать в Южную Африку или в Австралию. Я бы поехал первым, с шестью миллионами Элианы, затем, немного позднее, приехала бы Жоржетта. Быть может, и Жан-Луп. Не знаю. Мы бы что-то сделали. Мы бы уехали.

Человек по имени Грацци облокотился на стол. Он сидел один в кабинете, держа в руке два последних патрона от смит-вессона. И думал о своем сыне Дино, трех лет и 7 месяцев от роду, который, как обычно, уже спал, сжав кулачки на подушке, и о многом другом. Когда вошел Таркэн, он медленно положил патроны на стол.

Таркэн посмотрел на него, закрыл дверь, бросил отпечатанные на машинке листы на стол и сказал: итак, господин Холмс, как здоровье? Я должен был пойти сегодня вечером в кино, но, кажется, влип. Он выудил сигарету из верхнего кармана пиджака, сказал: эта свинья Фрегар, кажется, вздохнул с облегчением. Огня, пожалуйста, у меня всегда крадут спички.

Дверь снова открылась, и в нее просунулась голова Малле, сообщившего, что девочка в коридоре.

— Черт побери,— сказал Грацци,— я совсем забыл о ней.

Он вызвал по телефону Марсель, пообещал сейчас же освободить место Таркэна, только сперва договориться, чтобы парня доставили в Париж. Молодая блондинка вошла неуверенно. Таркэн сказал: входите же, малышка, садитесь в кресло. Ну, как идут дела?

Она ничего не ответила. Просто стояла перед столом. Ее немного бледное красивое лицо было освещено лампой. Говоря по телефону, Грацци смотрел на нее.

— Послушай, малыш. Сейчас 7 часов. Через час тебя отвезут в Мариньян. У меня есть согласие твоего отца. Ты сядешь в военный самолет из Алжира. Я буду тебя ждать на Бурже.

— В котором часу я прилечу?

— Около 11. На эту ночь я договорился с твоим отцом. Завтра он тоже будет здесь.

— Чтобы меня защищать?

— Нет, чтобы привезти чистое белье. Тебе, вероятно, придется увидеть Габера и Грандена. Ничего?

— Если уж так, то я предпочитаю повидать еще кое-кого.

— Даю тебе 15 секунд и вешаю трубку.

Освещенная лампой, она стояла в синем пальто и говорила по телефону. Таркэн курил сигарету, стряхивая пепел на костюм. Лицо его лоснилось, как обычно. Выглядел он немного усталым.

Грацци обошел стол. Он издали слышал голос мальчика. Мадемуазель Бенжамин Бомбá стояла очень прямо, спиной к ним, и отвечала только молчаливыми кивками — да, да, да. Мальчик говорил: ты слышишь меня, алло, меня привезут, алло, я увижу тебя сегодня же вечером, алло, ты слышишь, почему ты не отвечаешь, Бэмби? Он говорил: Бэмби, моя маленькая Бэмби.— и без слов, только кивком своей белокурой головки, освещенной лампой, она отвечала — да, да, да.

Перевел с французского А. БРАГИНСКИЙ.

ПРОШУ СЛОВА!

МНОГИЕ ГОДЫ ОБ ИНВАЛИДАХ МОЛЧАЛИ. НО ВОТ ЗАГОВОРИЛИ О ДЕФИЦИТЕ МИЛОСЕРДИЯ, НЕ ВООБЩЕ О НРАВСТВЕННОСТИ, А ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОНКРЕТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. ПОЯВИЛИСЬ ПУБЛИКАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ, И НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРЕДСТАЛО ТРАГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НАШЕЙ ПРОТЕЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Валерий БАЙДАНОВ

ПОМОГИТЕ ВС

Я протезист с тридцатилетним стажем, прошел путь от рабочего до инженера, девять лет возглавлял цех на Московском протезно-ортопедическом предприятии. Не было месяца, чтобы цех не выполнил план по валу, по штукам. А удовлетворения работа не давала. Шли бесконечные жалобы на качество наших изделий. Люди просили не невозможного, всего лишь сделать им удобный протез, чтобы жить и работать, ощущать себя человеком и как можно меньше зависеть от окружающих. Речь идет ведь не о том, чтобы на протезах бегать и ходить на лыжах, как сын сенатора Кеннеди, или демонстрировать купальники перед публикой на высоченных каблуках, как одна из американских манекенщиц; оба пользуются изделиями фирмы «Саболич просетик энд ристерч сентер» из Оклахома-Сити. А впрочем, почему бы и нет?

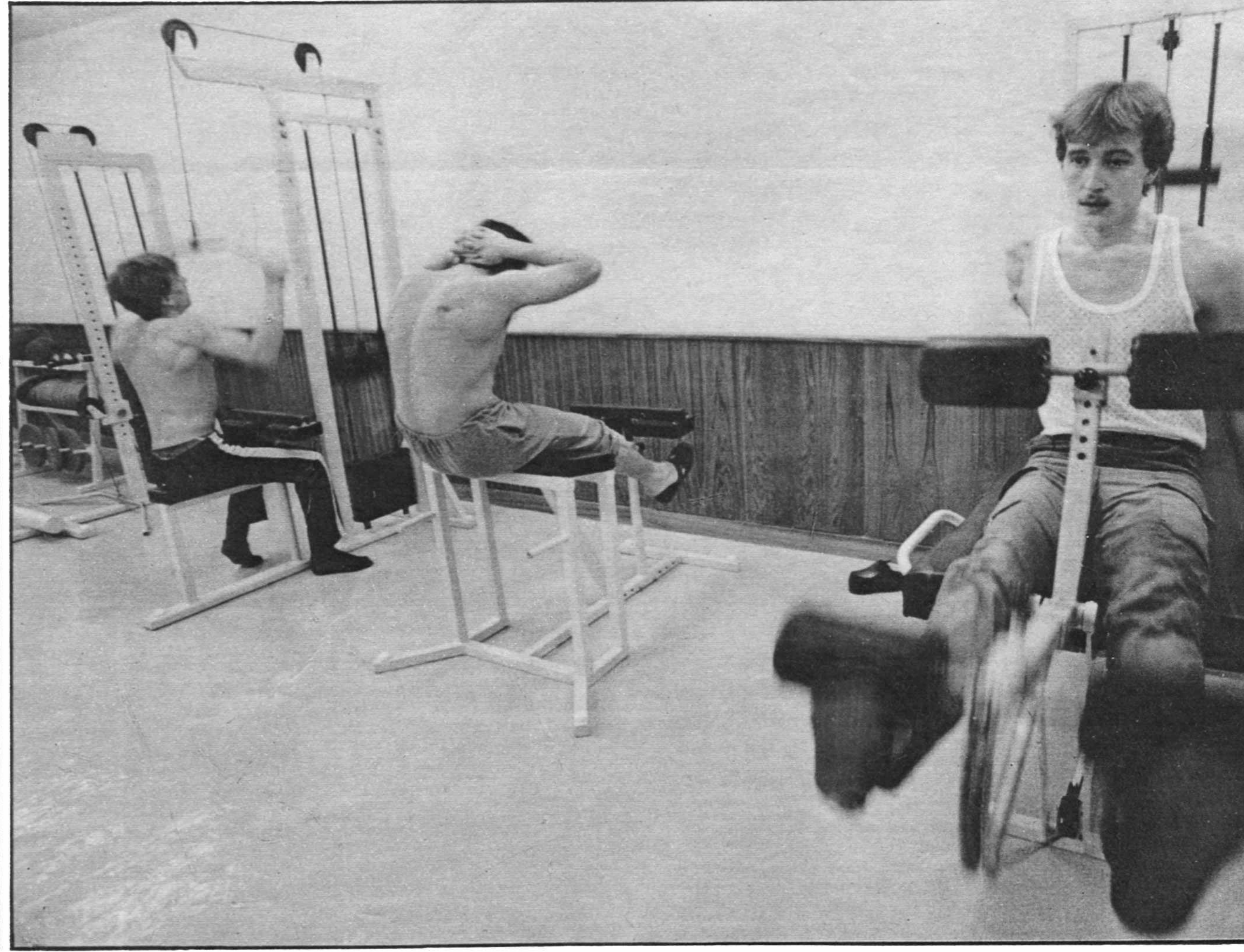
Пожелания наших заказчиков куда скромнее, можно сказать, минимальные, но и их мы не могли удовлетворить.

Ситуация сложилась абсурдная: мы пациентов не видели, делали протезы за глаза. Техник в кабинете сделает примерку, отметит — здесь загнуть, там убрать, тут прибавить. И — в цех. Оттуда — в отделку. Как получится, так и ладно. Хорошо ли, удобно ли, никого не волнует. Кроме пациента, конечно. Но его никто и не спрашивает. Получает человек протез, а пользоваться им не может. Или мучается, растираясь в кровь, ходит, стиснув зубы от боли, ездит к нам на край света, на Коровинское шоссе, для переделки. Это на протезе-то! И для здорового человека такое путешествие утомительно, да и занимает почти целый день. А переделка — все тем же способом. Чтобы не особенно жаловался, уговариваем: потерпите, через семь месяцев имеем право списать протез, сделаем вам новый. Но мог ли новый стать лучше?!

...Кто-то когда-то установил, что протез полагается менять раз в два года. Посчитали потенциальных заказчиков и спустили предприятию план: полторы тысячи изделий в месяц. Но если протез удобен, не сломался, зачем, спрашивается, его менять? Зачем тратить время и силы на поездки, часами ждать примерку, а в результате получить негодное изделие? Заказчики наши так и думают, но у нас-то план! И вот все — от технички до врача — садимся к телефону, приглашаем людей, уверяем, что новый протез им жизненно необходим. На самом деле он нужен нам для отчета, для премии. И вот едут через весь город инвалиды, тратят не день и не два. А потом свеженький протез отправляется куда-нибудь с глаз подальше. Знаю пациентов, у которых в гараже, на антресолях, стоят без дела пять, а то и семь ни разу не использованных протезов. Зря гоняем людей, делаем никому не нужную работу, переводим сотни тонн металла, кожи, дерева...

Год назад я решил создать бригаду, которая работала бы по иному принципу — непосредственно с человеком, делала всю подгонку при нем, а не заочно и целиком отвечала за качество и сроки, даже настроение заказчика. Мы отказались от ОТК, гарантируем качество, потому что лучший ОТК — сам пациент, ему ходить на нашем протезе.

В мае прошлого года наша бригада, единственная тогда в отрасли, приступила к работе. Вскоре сформировалась еще одна, которая занимается протезированием рук. По договору обязали нас изготовлять сто протезов в месяц. План напряженный, производительность получается раза в два выше, чем на всем предприятии. За все время ни одной жалобы. Думаете, заработки в бригаде повысились? Остались прежними. Потому что качество требует времени.



ТАТЬ НА НОГИ

Работы больше, ответственности больше, а деньги для рабочих те же. Моральное удовлетворение? Да, оно есть. Но есть и обида. В цехе сдельщик за конечный результат не отвечает, мучений инвалида с протезом, который он ему, не глядя, изготовил, не знает, глаз его страдающих не видит. А деньги выходят те же. Если ничего не изменится, рабочие из бригады уйдут: в таких условиях, как оказались мы, хорошо работать невыгодно.

Дело наше между тем понравилось, и теперь на предприятии создано еще несколько бригад. А мы, учтя опыт прошлых месяцев, долго не подписывали договор: потому что, кроме бригады, никто ни за что отвечать не хочет. В договоре сроки обязательны только для нас, смежные службы завода могут их сорвать и не несут ответственности.

Сроки особенно поджимают при протезировании «афганцев», которые лечатся в подмосковном санатории «Русь», их направляют туда со всего Союза. Перед москвичом в конце концов можно извиниться. А у «афганцев» путевка на 24 дня; тут срок для протезирования дней семь, не больше. Чтобы выдержать такой темп, нужно четко отладить все связи, в том числе и с поставщиками. Нет детали, и мы нужен протез, но вынужден делать то, что стоит дороже.

С кем хитрим, кого обманываем? Протезы оплачивает министерство социального обеспечения, деньги идут из бюджета страны. Мы просто обязаны сделать так, чтобы эти средства служили тем, кому предназначены. Я был в Чехословакии, там маленькие мастерские, их несколько в городе, в разных концах. Чувствуете, с чего начинается забота о тех, кому непросто преодолевать расстояния? И план у них — пять-семь протезов в месяц. У нас — сто.

Сейчас процентов сорок новеньких протезов валяется по кладовкам. Уверен: протез нужно делать только тогда, когда он действительно необходим. Вывод таков. Количество людей, нуждающихся в протезировании, известно. Минсобес, исходя из этого, переводит на предприятия для оказания протезно-ортопедической помощи определенные деньги. Не выходя из этой суммы, с максимальным вниманием мы можем обслуживать только тех, кто за этой помощью к нам обращается. И во главу угла ставить не план, а качество. Тогда сможем уделять людям времени столько, сколько нужно, в полном смысле

появятся новые разработки, но ведь пройдет не год и не два...

Сейчас идут переговоры о сотрудничестве с иностранными фирмами. Чтобы обеспечить новый качественный уровень не в отдаленном будущем, а в ближайшее время, нам, думаю, можно было бы пойти и на создание совместных кооперативных предприятий. В них необходимо участие советских заводов авиационной и оборонной промышленности, которые бы поставляли новые смягчающие, легкие и практичные материалы. Понадобятся помещения, оборудование, материалы и детали отечественного производства. Но при заинтересованном подходе это не должно оказаться неразрешимой проблемой. Мы уже знаем примеры, когда арендаторы и кооператоры своими силами ремонтировали списанное оборудование. (С того же начинала и наша бригада, когда вопрос о ее создании уперся в то, что нет станков.)

Предприятие это, безусловно, дорогостоящее. Но цена изделия — для заказчика — должна складываться только из трудовых затрат протезистов. Остальные расходы — в советских рублях — может покрывать министерство социального обеспечения,

Снимки сделаны в подмосковном санатории «Русь», где проходят реабилитацию воины-интернационалисты, вернувшиеся из Афганистана.

Фото Игоря ГАВРИЛОВА

выбиваемся из графика. У нас план месячный, а поставки — квартальные. Заводы-изготовители могут одни детали прислать в первом — втором квартале, другие — в последние месяцы и сразу за весь год. От этого страдают не только «афганцы». Есть у нас и такой еще заказчик — дети. Пока мы ждем детали, они растут; оттого, что ходить неудобно, у них искривляется позвоночник.

Создавая бригаду, мы надеялись показать, что перестройка в протезной промышленности возможна. Думали: начнем работать, и сразу все увидят, что управленческий аппарат, существующий на заводе, не нужен (сейчас он составляет около двадцати процентов). Всем, кажется, ясно, что при бригадном методе отпадает необходимость в мастерах, в большом количестве диспетчеров, расценщиков, в ОТК. Из 417 работающих можно смело освободить человек 100. У нас работы прибавилось, у них убавилось, аппарат каким был, таким и остался. О каком хозрасчете тут может идти речь? И стоит ли кормить из своего кармана лишних людей?

Никто не против бригад. Все — за. Да, говорят, так лучше. Но опять в договоре на этот год — план по валу, в рублях. И опять: я вижу, какой заказчику

слова ставить их на ноги. Не это ли наша основная задача? И еще — сколько материалов сохранится по всем протезным заводам страны...

Думаю, нам давно пора обратиться и к мировой практике. «Медицинская газета» в начале этого года рассказала о достижениях американской фирмы Джона Саболича. Контакты с ней, видимо, необходимы хотя бы для того, чтобы понять, почему они на протезах могут бегать, играть в футбол и кататься на горных лыжах.

Недавно у нас на предприятии были представители нескольких других американских фирм из разных штатов. Показывали свою работу, свои изделия. Мы увидели, как высока у них культура протезирования. Конечно, в их распоряжении графит, титан, мягкие пластмассы. Но ведь и наше министерство оборонной промышленности, которое всем этим располагает, выразило готовность сотрудничать с протезостроением. Опять все «за», но время идет, а результатов пока не видно.

Оборудование, на котором мы работаем, устарело настолько, что американцы глазам своим не поверили: неужели на таких станках можно работать... Со временем наша промышленность перевооружится,

как делает это и сейчас. Цена должна быть разной, но обязательно доступной, умеренной; если потребуется особая отделка — несколько выше, но все равно в разумных пределах. Работа на таком предприятии, как я это себе представляю,— не способ заработать большие деньги, а прежде всего возможность оказать квалифицированную помощь.

На отходах — они неизбежны — можно развить производство товаров народного потребления, включив в эту деятельность инвалидов и обеспечив их работой, которую они не всегда имеют.

Но какими бы узлами и материалами мы ни владели, без опытных, хорошо выученных специалистов общую культуру протезирования не поднять. Если уж на московском предприятии, которое считается лучшим, дела с этим обстоят не блестяще, можно только представить себе, насколько все хуже в других городах. Настало, думаю, время при Центральном научно-исследовательском институте протезирования и протезостроения создать учебную мастерскую для стажировки техников из разных городов.

...Много есть возможностей, чтобы помочь людям, которые в этом нуждаются. Только медлить уже нельзя.

вая из этих двух категорий. Сарьян, скорее, создает формулу данного мира, опираясь на его реальную основу и одновременно возвышаясь над нею. Это формула Востока — не в его внешней, экзотической и пестро-яркой видимости, а в его сущности.

Произведения Сарьяна, созданные накануне первой мировой войны, принесли ему широкую известность в России и за границей. После Октябрьской революции его творчество получает новые стимулы. Сарьян, обретая родину, сближается с передовой армянской интеллигенцией, со своим народом. Жизнь идет вперед. Вместе с ней меняется и творчество художника. Его палитра светлеет. Пейзажи проникаются ясным, спокойным чувством. Природа Армении предстает в его полотнах гордой и величавой, полной возвышенного и умиротворенного покоя, вечной, немеркнущей красоты. Постепенно формируется новый тип пейзажа. В 20—30-е годы Сарьян довольно часто обращается к интимным мотивам, изображая то уголок сада с прохладной тенью кустов, то старую городскую окраину. Но все чаще он раздвигает рамки привычного ландшафта. Мирные, широко раскинувшиеся долины, где растут красавцы деревья и течет обычная жизнь людей, цепи гор, уходящие друг за друга и теряющиеся в ясных и светлых далях, гордый Арарат, возносящий свою вершину в голубизну неба, желтеющего у горизонта,— вот излюбленные мотивы Сарьяна 40—50-х годов. Эта природа поначалу кажется недоступной, возвышающейся над человеком. Но именно в ней живут люди, приобщаясь к ее красоте и в то же время делая природу более близкой, открытой каждому, каждому дарящей свои блага.

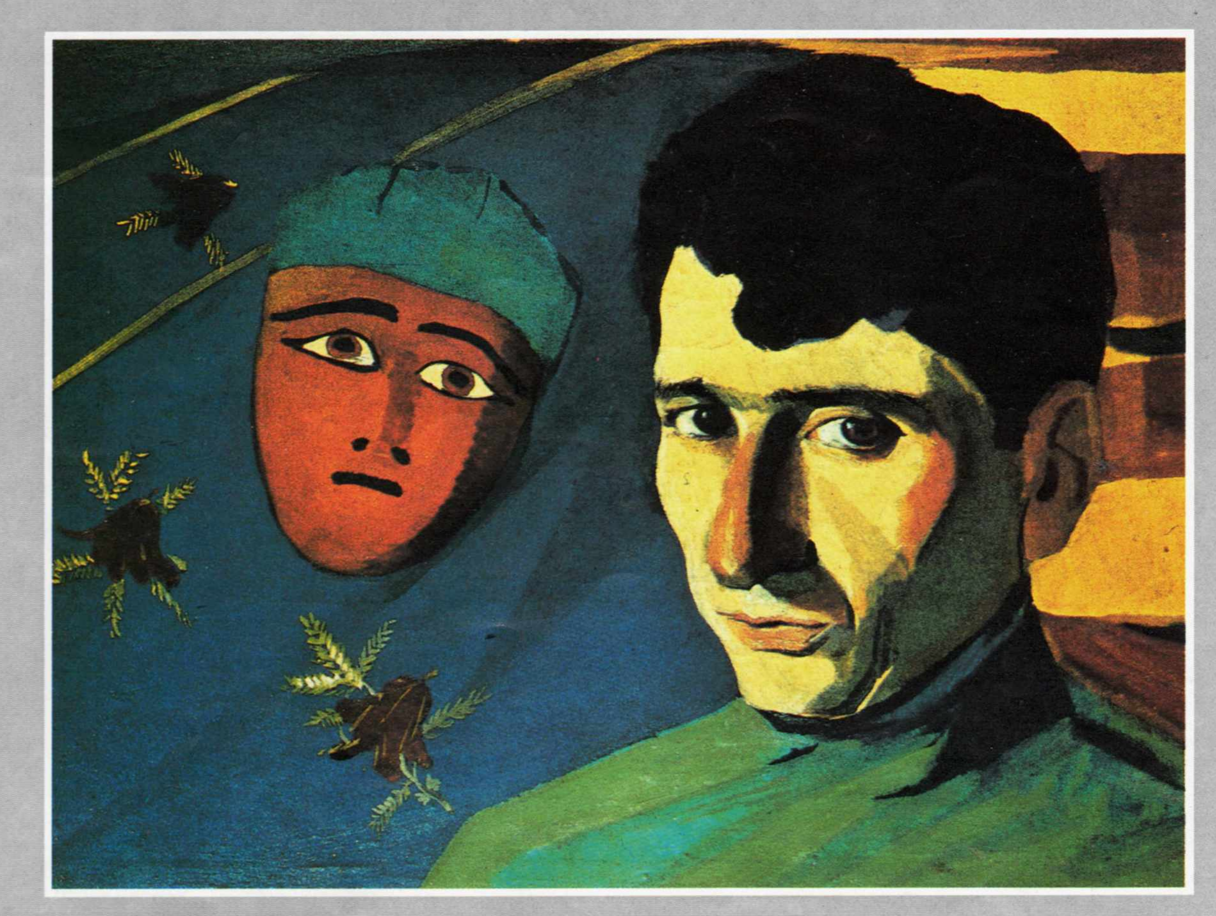
Самое повседневное и простое в жизни людей Сарьян умеет соединить с возвышенной красотой. Столь же удивительна его способность сочетать яркую красочность, декоративность с живым, непосредственным восприятием окружающей реальности. Это качество прекрасно проявляется в его натюрмортах. «Цветы Сарьяна» — это особая, самостоятельная тема, которая сопровождает творчество художника почти с самого начала до самого конца. Сначала — букеты, потом — ковры, сотканные из цветов, составляющие целостные ансамбли, но сохраняющие красоту каждого цветка, написанного до мелочей правдиво и зорко.

В искусстве Сарьяна — лирическом, светлом, радостном — всегда глубоко и точно проявляется своеобразная философия художника, будто знающего, в чем корни и истоки жизни, в чем смысл человеческого счастья. Эта философия сродни народной мудрости, которой проникнута и поэзия Армении — старая и новая. Эта мудрость ярко выразилась в портретном творчестве художника. Сарьян любит угадывать в человеке душу, родственную своей. В портрете поэта Е. Чаренца (1923) воплощено творческое горение, сдержанное внешне, но озаряющее внутренний мир поэта. Это мир образов и поэтических метафор, мир поэзии честной и чистой. В своих портретах Сарьян старается увидеть за внешним обликом отражение души человека, постичь в каждом черты того подвига, который пронесли через жизнь сарьяновские герои, так много давшие культуре.

Замечателен автопортрет Сарьяна 1942 года. Здесь над всем царит взгляд художника — зоркий и пристальный, взгляд живописца, постигающего красоту окружающего, готового воплотить ее в красках, пока еще не смешанных на палитре, но через мгновение способных заблистать в гармонических созвездиях на холстах. В автопортрете воплощен темперамент Сарьяна. Он словно ловит проникающие сквозь широкие окна мастерской солнечные лучи, чтобы они многие годы рождали в людях чувство радости и счастья.

Дмитрий САРАБЬЯНОВ

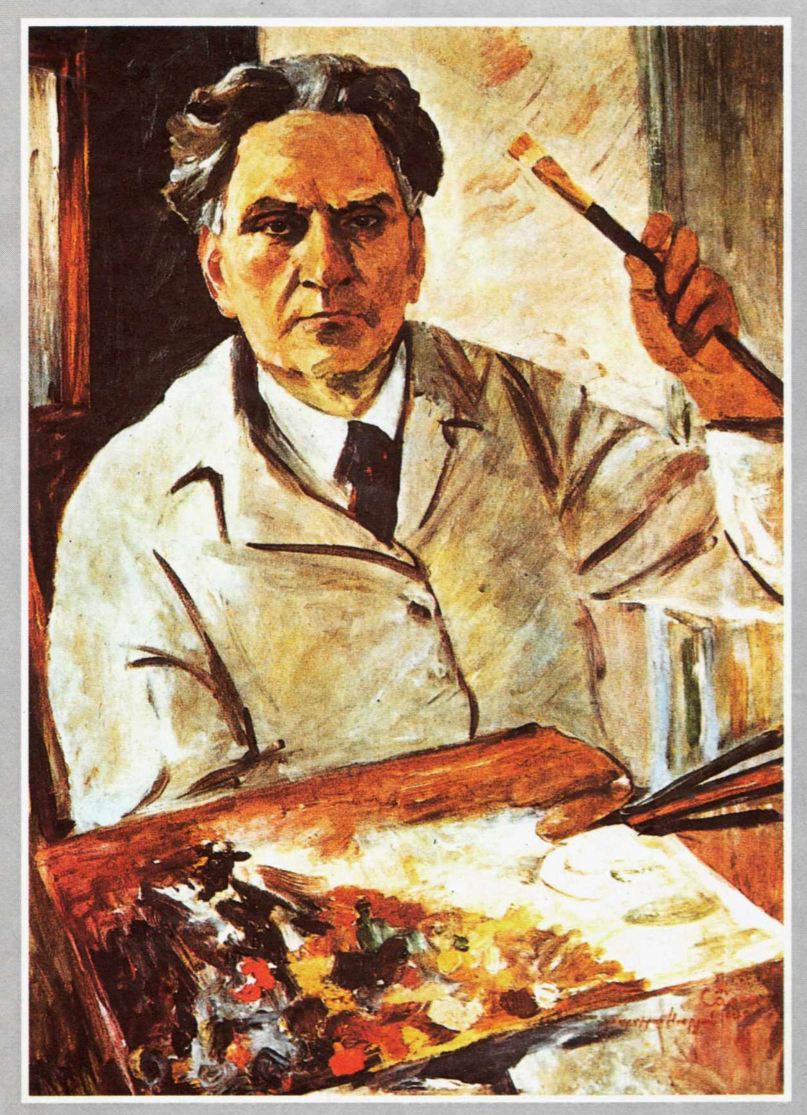
Начало на стр. 8.



ПОРТРЕТ ПОЭТА ЕГИШЕ ЧАРЕНЦА. 1923.

ЦВЕТЫ КАЛАКИ. 1914.

НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ. ЕГИПЕТ. 1911.



АВТОПОРТРЕТ. 1942.

ПО ВСЕМ АДРЕСАМ

Наша литературная критика долго тосковала по «красивым, двадцатидвухлетним» — так долго, что не замеченные ею двадцатидвухлетние поэты становились тридцатилетними, но по-прежнему продолжали ходить в «молодых, подающих надежды». Годы гласности несколько изменили судьбу этого поколения — стали появляться большие подборки, первые книжки «все еще молодых». Оказало ли влияние такое опоздание на творческий рост поэтов? Несомненно. Публикация стихов отчуждает их от автора, освобождает место для нового.

Хотелось бы, чтобы нынешние «двадцатидвухлетние» не повторили судьбу своих предшественников. У них есть для этого возможность — и дело не только в наметившихся издательских сдвигах и появлении новых молодежных журналов и альманахов. Главное основание для оптимизма в другом: нынешние «двадцатидвухлетние» вовремя прочитали не только великую русскую литературу XIX века, но и лучших поэтов и прозаиков XX — впервые в полном объеме. Литература растет, как дерево,— знать, от какой ты ветки, каждому пишущему необходимо. Более того, для полноценного духовного роста необходима разнообразная здоровая духовная пища, со всеми имеющимися в природе (читай: в культуре) витаминами.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию стихи двух молодых москвичей. Денису Новикову еще нет двадцати двух, в нынешнем году у него выходит первая книжка, он студент Литературного института. Елена Дьякова — аспирантка ИМЛИ.

Олег ХЛЕБНИКОВ

Елена ДЬЯКОВА

* * *

Спасибо всем за сказку «Теремок».
За примеси угара и мороза.
Животный миф.
Ритмическая проза.
Беспамятный, двухлетний говорок.
За крепкий коммунальный кипяток.
За хриплый крик в магнитофонных
лапах.
За братство ощетиненное слабых.
За то, что лес огромен и жесток.
Спасибо, что держали на руках
До разума...
Спасибо, что успели
До золотой рождественской метели,
До книксена в хрустальных
каблуках.
...За транспортную драповую тьму.
За топи под асфальтовою стланью,
За то, что я на выдохе пойму,
Как Родина уходит в подсознанье,
Как сызмальства скрежещут —
вдалеке
От оперного,
трезвого трезвучья —
На древнем рукопашном языке
Кириллицы растерзанные крючья...

ПРАЗДНИКИ

Леденеют ноябрьские лужи,
демонстрация кончилась, лишь
подмосковная ливенка кружит
между стендов, портретов, афиш.

...Где молчащего нету подлее,
но молчащему — чаще блины,
где за мир насаждают аллеи,
но всегда ожидают войны,
где отвисла бульдозера челюсть
и толпа понесла впопыхах,
где поломаны спички качелей,
ножки-палочки в красных чулках,
где никто никого не поборет,
где до смерти остаться слабо,
где подросток писал на заборе
непристойное слово «свобо...».

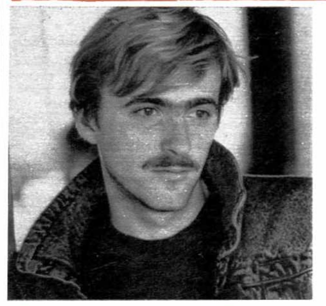
Созидаются новые были.
День Закона неоном облит.
— Заманили...
сгубили...
забыли...
Но вослед нам — скулит и скулит.

СОСЕДКА

Страшнее всех на здешнем этаже...
Дворяночка, державшая под стражей
полгорода,
как ложечка фраже
ущербная,
живущая продажей
трофеев, мемуаров и даров,
в ладах с любым правописаньем
новым,
«Вы жертвою...» с «Расстрелом
юнкеров»
смешавшая,
Тургенева — с Треневым,
былиночка, перекати-зола —
в английской школе,
в лингафонном зале
она уроки мужества вела.
А прочее — соседи досказали.
...А я закреплена была за ней
с брезгливым прилежаньем
доброволки
выпытывать частушку пострашней,
раскладывать хрустальные осколки.
Как наблюдатель Красного креста,
ведущий счет простреленным
рубахам,—
по недосмотру Божьему чиста,
не пытана ни голодом, ни страхом,
Как будто бы — уже не позовут
и не меня водила строем школа
в заезжий ТЮЗ, где пляшет
ундервуд,
выплевывая гильзы протокола,
не я писала рапорты...
не я
для вышеупомянутого зала
гвоздички из багрового тряпья
по старым трафаретам оформляла.

* * *

Этот скверик гражданского типа —
свежестриженый, светлый,
сквозной —
весь, от кинотеатра до тира,
подчиненный идее одной,
этот, с огнеупорной конторой,
этот липовый маршевый путь,
выводящий к фонтану, который
никому не удастся заткнуть!
...детский, старческий,
но голосами
одинаковый — движется вспять,
этот скверик с двойными часами,
под которыми нечего ждать, —
проживет,
на тебя не рассчитан:
глядя в землю, сужая круги,
ты не видишь, как ищет защиты
здесь, под лавкой, нога у ноги,
как дает, поглощает и дарит
этот скудный, наследственный
свет —
пыльный велик, помятый сандалик,
тапок тромбофлебитный вельвет.



Денис НОВИКОВ

* * *

Есть иной, прекрасный мир,
где никто тебя не спросит:
«Сколько время, командир?»
забуревший глаз не скосит.

Как тебе, оригинал,
образец родных традиций?
Неужели знать не знал,
многоокой, многолицей

представляя жизнь из книг,
из полночных разговоров?
Да одно лицо у них,
что ни город — дикий норов.

Кто, играя в города,
затмевал зубрил из класса —
крепко выучит «Беда»
всё названье, дальше трасса,

дальше больше — тишина.
И опять Беда, и снова
громыханье полотна,
дребезжанье остального.

Хочешь корки ледяной,
вечноцарской рюмку хочешь?
Что же голову морочишь —
мир прекрасный, мир иной.

* * *

Тоскуя о родных местах,
во сне невинном и глубоком,
МИ-22 — российский птах
пустыню измеряет оком.

Смущенный тенью на песке,
рукой железной жмет гашетку
и зрит плывущей по реке
Оке — рябиновую ветку.

Весь — ностальгический порыв,
весь нараспашку и наружу,
душой широкой воспарив,
он замечает рядом душу

той зыбкой тени на песке,
что без кинжала и нагана
летит, как мячик на шнурке
в руке небритого цыгана...

Когда бы старшая сестра
протерла точные приборы,
вложила ветку в пасть костра,
а в гриф гитары — переборы.

Коньки и санки. Чистый лед.
Плотвой натянутая леска...
Слюну пускает вертолет,
трепещет, словно занавеска,

и поворачивает вспять,
ведомый внутренним сигналом,
и продолжает сладко спать
перед военным трибуналом.

* * *

В.Ч.

В ожидании друга из вооруженных
до зубов, политграмоту знающих
тех,
распевающих бодро о пушках
и женах,
отдыхающих наспех от битв
и потех,

из потешных полков обороны
воздушной,
проморгавшей игрушечного прусака,
не сморгнувшей его голубой,
золотушный
от пространства и солнца, как все
облака

безопасный, штурмующий хронику
суток,
самолетик; из комнаты,
где по часам
на открытках, с другой стороны
незабудок,
пишут считанным лицам по всем
адресам;

из бывалых и тертых каленою
пемзой,
проживающих между Калугой
и Пензой,
но таких же, смолящих косяк
впятером
от щедрот азиата, но тоже такого,
с кем не очень-то сбацаешь
Гребенщикова
и не очень обсудишь стихи,
за бугром
выходящие; но ничего, прокатили
две весны втихомолку,
остаток зимы
перетерпим, раздастся надрывное
«Ты ли?!»
по стране, и тогда загуляют
взаймы
рядовые запаса в классическом
стиле.

* * *

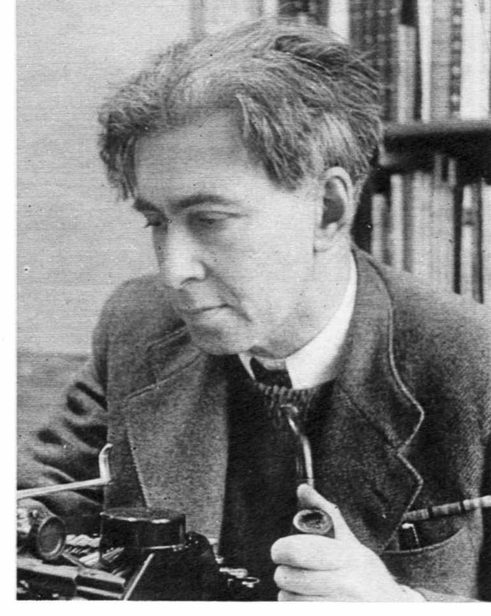
Бумага терпела, велела и нам
от собственных наших словес.
С годами притерлись к своим
именам,
и страх узнаванья исчез,

исчез узнавания первый азарт,
взошло понемногу былье.
Катай сколько хочешь вперед
и назад
нередкое имя мое.

По черному белым его напиши,
на улице проголоси,
чтоб я обернулся — а нет ни души
вкруг недоуменной оси,

но слышно: мы стали вась-вась
и петь-петь,
на равных и накоротке,
поскольку так легче до смерти
терпеть
с приманкою на локотке.

Вот-вот мы наделаем в небе прорех,
взмывая из всех потрохов,
и нечего будет поставить поверх
застрявших в машинке стихов.



В самые худшие для нашей литературы времена (последние годы жизни Сталина) сложилась и надолго утвердилась такая литературоведческая схема: писатель всю жизнь впадал в разнообразные грехи, совершал ошибки, мучительно преодолевал различные соблазны и заблуждения, пока наконец не выходил — как правило, к концу жизни — на светлую, единственно правильную дорогу социалистического реализма.

На эту «колодку» натягивалась любая жизнь, любая творческая судьба. Даже Горький, и тот прошел через соблазны ницшеанства, богоискательства и других политических и эстетических ересей, пока не создал свой шедевр — роман «Мать». Маяковский долго и трудно преодолевал грехи молодости: футуризм, Леф, формалистические «вывихи». Федин тоже чего-то там преодолевал всю свою долгую жизнь, пока наконец не достиг вершин: романов «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

Больше всех «петлял» и метался из стороны в сторону Эренбург. Его творческий путь, согласно этой схеме, представлял собою особенно извилистую, изобилующую особенно крутыми поворотами тропу «в темноте бездорожья». Но в конце концов и он вышел на верную дорогу, написав «Бурю» и «Девятый вал» — романы, удостоенные высших литературных наград того времени.

Без малого шесть десятков лет работал Эренбург в литературе. Количество книг, написанных и изданных им за это время, далеко переваливает за сотню («Я плодовит, как крольчиха»,— не без иронии говорил он о себе). И едва ли не каждая из написанных им книг была своего рода сенсацией, сразу оказывалась в центре читательских интересов, споров, дискуссий.

Эренбург с благодарностью отметил эту особенность своей литературной судьбы.

Незадолго до смерти, побывав в Индии, он написал стихотворение «Коровы в Калькутте». В нем рассказывалось о незавидной участи калькуттских священных коров:

Они бродят по улицам,
Мычат, сутулятся,
Нет у них крова,
Свободные и пленные,
Голодные и почтенные,
Никто не скажет им злого слова —
Они священные.

Кончалось стихотворение несколько неожиданно:

Есть такие писатели —
Пишут старательно,
Лаврами их украсили,
Произвели в классики,
Их не ругают, их не читают,
Их почитают.
Было в моей жизни много дурного,
Частенько били — за перегибы,
За недогибы, изгибы,
Говорили, что меня нет — «выбыл»,
Но никогда я не был
священной коровой,
И на том спасибо.

Тут, правда, он слегка погрешил против истины. Как я уже сказал, был в его жизни момент, когда он — к счастью, ненадолго — оказался причислен к «священным коровам». О его романе «Девятый вал» Фадеев писал, что он «мощен, гуманистичен, в нем клокотание народных сил, людской потоп». Критика захлебывалась восторгом. Но сам Эренбург вскоре отозвался об этой своей книге трезво и безжалостно: «А я написал плохой роман».

Обладая всеми атрибутами «живого классика», сам он не склонен был особенно обольщаться насчет их истинной ценности.

«Представители различных издательств, журналов, газет, театров читали поздравительные адреса, похожие один на другой: «пламенный трибун», «отточенное перо», «неутомимый борец за мир», «книги, вошедшие в золотой фонд советской литературы»... Было очень жарко, и дерматиновые папки, которые высились предо мной, скверно пахли».

Так он описал свой шестидесятилетний юбилей.

Сегодня, когда с треском ломаются и рушатся все устаревшие схемы, настала пора вспомнить настоящего Эренбурга. Не того, кого превратили в «священную корову», увенчав всеми полагающимися «живому классику» лаврами, а такого, каким он был в самом начале своего пути,— веселого, озорного, издевающегося.

В предисловии к первому роману Эренбурга «Необычные похождения Хулио Хуренито...» Николай Бухарин писал: «Можно было бы, конечно, сказать много «серьезных» и длинных фраз по поводу «индивидуалистического анархизма» автора, его нигилистического «хулиганства», скрытого скептицизма и т. д. Нетрудно сказать, что автор — не коммунист, что он не очень шибко верит в грядущий порядок вещей и не особенно страстно его желает... Но все же книга от этого не перестает быть увлекательнейшей сатирой».

В полной мере это относится и к рассказу, который вы сейчас прочтете. Он входил в книгу Эренбурга «Неправдоподобные истории» (Берлин, 1922 г.) и с тех пор в нашей стране ни разу не публиковался.

Илья ЭРЕНБУРГ

ЛЮБОПЫТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Рассказ

Только и интереса, что, где и как выдают. Маруся уверяла, что в Рабкрине по фунту изюма предполагают. Вкусная вещь, только не врет ли? А в Собесе по полкурицы на рыло, тоже невредно. Только у нас все еще раскачаться не могут, дальше пшена лежалого не идут. Ну, да может к первому маю и нас не обойдут, конфект что ли, или колбаски пожалуют. Так и живем от пайка до пайка. Скучно!

А недавно было в нашем городе происшествие любопытное, прямо достойное радио, немного развлеклись мы: среди бела дня пропал председатель исполкома, товарищ Терехин, или еще «товарищ Валентин», как называют его по старой памяти коммунисты, а иногда для форса и «сочи», т. е. сочувствующие. Имя звучное, романтическое, но лишь для высоких политических сфер, ибо зовут на самом деле Терехина Иваном Ильичом. Пропал Терехин в субботу, примерно в полдень. Утром заходил он еще в Наробраз побеседовать с товарищем Браудэ, как бы на выборах к партсъезду провести сторонников Троцкого, и профсоюзы, где сидит товарищ Бирюк, бывший меньшевик, от которого на версту соглашательством несет, перетряхнуть вежливенько. А в два часа дня на заседание Исполкома, где должен был обсуждаться вопрос важности первостепенной, Терехин не явился, и, прождав его до четырех, сотоварищи подняли тревогу.

Следует сказать, что только в глазах невежественного профана «чека» — это нечто простое, что сразу понять можно. На самом деле учреждение это сложное и деликатное, с механизмом, который подилетантски, с маху не постигнешь. «Чеки» много, и вся она разная, есть у нас представители «вечека», есть «губчека», есть «орточека», есть «уточека» (ее любители буколики «уточкой» обозвали), есть и совсем особая, «ОО», такая страшная, что даже наш заведующий секцией, на что важный, в комячейке состоит, лошадьми пользуется, и тот, когда заговоришь с ним об «ОО» этой, ерзать начинает:

«И что вы всегда о таком вспоминаете, лучше бы о музее нашем, или о детках в яслях, миленькие детки, крохотные, а то и неровен час, сами знаете, ведь я «мартовский», плохой выводок, нестойкий, как анкету о стаже подписываю, рука дрожит и росчерк подозрительный получается, вроде старорежимного...»

Так вот все «чеки» дружно взялись за дело, защелкали машинки, забегали элегантные сотрудники, все автомобили города засопели, ну и, надо признаться, обыватели струхнули изрядно,— уж очень все это недобрые признаки. Одни уверяли, что раскрыт заговор не то монархистов, не то анархистов и сейчас начнут обстреливать городской театр, где будто монархисты или анархисты, свергнув власть, строчат радио в Европу (радио стали у нас привычными, легче, кажется, всю Эйфелеву башню нотами закидать, нежели городскую открытку отправить, вот наш секретарь Попов, когда машинистка Шумова спрашивает, что на свете новенького, глядя на ноги ее в огромных бобриковых валенках, галантно восклицает: «Вы Терпсихора — последнее саморадио»).

Другие утверждали, что никакого заговора нет, в театре идет репетиция «Гамлета», приспособленного артистом Клюковым для производственной агитации, а чекисты суетятся по случаю нового сбора излишков. Туманное слово «излишки», когда-то в детстве еще читал я в книжке, будто американские рабочие бисквиты едят. Конечно, сам я в Америке не был, возможно, выдумка. Но у нас на сей счет построже будут. Когда последний раз просматривали потрохи, у статистика Ксемина забрали два фунта сахарного песку и теплый вязаный жилет, без которого Ксемин заболевал коликами в желудке, объявив это «излишками». Говорили, будто на сей раз отнимут все самовары, ибо медь нужна на пушки, и жена фельдшера Глумова, из Наркомздрава, свой брюхатый тщетно пыталась спрятать в пустом курятнике, присыпав за отсутствием соломы золой. А на окраинах бабки измышляли уж совсем бессмысленные вещи, будто чекисты гоняются за «прыгунчиками», у которых лицо ночью светится, ноги на пружинах, так что прыгать могут без натуги выше каланчи, и прибыли из американского царства, чтобы отомстить поругателям мощей святителя Трифона. Оживились все, хоть и боязно стало, но все-таки происшествие.

А автомобили гудели, свистели, рыскали, до вышедшей эссенции и лопнувших шин старались разыскать товарища Терехина. Обошли все отделы, подотделы, комиссии, комнаты, ячейки города. Заглянули в музей, где Клик, наш художник признанный, объяснял двум ломовикам, пришедшим за отсутствием чайной малость обогреться, что есть фактура и есть конструкция. Увидев чекистов, Клик, будучи от природы крайне скромным, присел в уголок за какой-то глиняный шар с жестяной покрышкой, именуемый «памятником Спартаку». Просмотрели общественный сад. Даже к Анне Николаевне, у которой иные чекисты получали шипучее и трубочки с заварным кремом, забежали, хоть и знали, что Терехин — страшнейший педант, даже от повышенного пайка осенью отказался. Пошарили за городом. К вечеру стало ясно, что это не что иное, как контрреволюция.

Исполком заседал почти до рассвета, чекисты к Анне Николаевне не пошли, а всю ночь честно работали, получив предписание арестовать заложников из среды буржуазии, духовенства и левых эсеров.

Взяли помощника присяжного поверенного Тугенштейна, из комюста, по привычке — его всегда брали, обходилось дело тихо, почти любовно, и Тугенштейн на ночной звонок (даже телеграфистами не приходилось прикидываться) выходил сразу одетый, с подушкой под мышкой. Взяли еще лавочника Митрофана Саввича Романова, торговавшего прежде москательным товаром, а теперь «кустарными изделиями», т. е. половыми щетками, бисером и кислой капустой. Романова губила его явно неудобная фамилия, просил он разрешения именоваться впредь Краснолобовым, но ему было отказано, ввиду паразитического происхождения. Эти два были от буржуазии. От духовенства взяли одного протодьякона, да и тот идти не хотел, жаловался на паралич, валялся в ногах и цеплялся за дьячиху, завывавшую: «Прощай, Иона, супруг мой любезный!» Труднее всего было с эсерами — хоть город у нас порядочный, губернский, но эсеров в нем не осталось совсем, вывели давно. Весной семнадцатого на каждой тумбе эсер торчал, а теперь, как ни ищи, все равно не выкопать. Одних пристрелили при мятежах различных, другие сбежали, третьи коммунистами заделались. Имеется, правда, бывший студентик Пиликин, летом семнадцатого устраивавший в училище живые картины с сопроводительными речами приезжего эсера. Его можно прихватить, да на беду он этой зимой сидел уже два раза, как правый эсер, а теперь предписано ущемить левых. После долгих поисков изловили служащую продкома Леватидову, которая, по ее же словам, сочувствовала прежде эсерам, даже с Черновым, будучи в Питере, на митинге ласково перемигивалась, а последнее время полевела, словом, если не совсем, то приблизительно.

Арестовать — арестовали, весь город перетряхнули — Терехина не было. А находился он в месте, куда, конечно, уж никакой чекист, даже самый рьяный, заглянуть не надумал, а именно в общей камере губернской тюрьмы. Председатель исполкома, средь всякой белогвардейской шантрапы!

Чтобы это непостижимое происшествие стало ясным, необходимо остановиться на двух предметах: на особенностях натуры Терехина и на галантных авантюрах сторожа Емельича. Терехин был человеком мечтательным, не займись он еще в гимназические годы политикой, вышел бы из него уездный статистик, который посреди села, глядя на чушку и слюнтяя-мальчишку, стравливающего сучек, прозревает душу природы и, приехав домой, читает на сон страничку о пантеизме Спинозы или еще в своей кухарке Луше чует Дульцинею плюс Вечная Женственность Соловьева. Человек, безусловно, возвышенный! Но в пятом классе прочел Терехин брошюрку «Пауки и мухи», возмутился нехорошим устроением мира и отважно порешил все переделать заново. Сначала таскал «литературу», потом был произведен в пропагандисты и восьми рабочим с кирпичного завода «Глашки», прерывавшим его нудными вопросами: «вот как же насчет землицы?», читал об историческом материализме, особенно цитируя «Анти-Дюринга». Вскоре он попал в тюрьму, и потом уж из семи лет до революции четыре с половиной года провел за решеткой. В тюрьмах читал он умные книжки, делал конспекты и до одурения спорил с меньшевиками, защищая «отрезки» против муниципализации. В краткие промежутки, обретаясь на воле, он тоже срамил меньшевиков, но уже на всяческих собраниях, и считался мастером составлять сложные резолюции с предпосылками, особенно нежно родительски повторяя: «принимая во внимание, что...» Ютился он на ночевках, а обедал, и то в самых дрянных харчевнях, лишь когда ему об этом напоминали: «Да, да, конечно, вы правы, питаться совершенно необходимо». Женщин совсем не знал, хотел как-то сойтись с какой-нибудь для идейной близости и совместной борьбы рука об руку, но запамятовал или времени не хватило.

Когда началась революция, сидел он далеко в Сибири. Приехав в наш город, сразу выступил с агитацией большевистской. Посему наши интеллигенты и объявили со всеми деталями, что получил Терехин лично от фельдмаршала Гинденбурга сто тысяч марок и золотые часы в придачу (стоит рассказать, что Терехин деньги не только ненавидел, но и держать боялся: когда раз очутились у него триста рублей «партийных», он от забот расстроился, перестал читать «Анти-Дюринга» и наконец сплавил их секретарю).

В октябрьские дни, во время короткой перестрелки с кучкой офицеров, Терехин был серьезно ранен и полгода провалялся в госпитале. Потом поехал в Москву, писал до потери последних сил резолюции с пунктами, но был комитетом партии мобилизован для «работы на местах» и этой зимой вернулся к нам уже в качестве председателя исполкома.

Удивительно, какие есть люди — ходят они по земле, шлепают по лужам, наступают на плевки и на прочую пакость, а все им кажется, что кругом цветочный луг с отменными благоуханиями. Хорошая вещь коммунизм, высокие, большие дела, верно, в Москве делаются, но вот мы в захолустьи нашем, по обычной человеческой ограниченности, больше эти плевочки замечали. Терехин же радовался не власти и положению своему, ибо был кроток и скромен настолько, что никак не мог попросить заведующего складами выдать ему кальсоны вместо сносившихся и солдатскими штанами стер всю кожу с ног, нет, радовался он величию происходящего. В качестве председателя исполкома приходилось ему заниматься организацией хлебопекарен, борьбой с сыпняком, поставкой крестьянами картошки. Но все эти будничные дела возводил он на многоэтажные сооружения своих «принимая во внимание...», и там парили они совместно с мировой революцией, воспитанием коммунистического юношества, гигантскими видениями нового потопа, безумного ковчега среди вод и прекрасного берега, который ясен и близок.

В памятный для всех обитателей города, особливо для дьякона Ионы, день, побеседовав с Браудэ, направился Терехин в клуб подростков, где должно было состояться литературное утро в память Розы Люксембург. Проходя по Павловской, мимо тюрьмы, он остановился, охваченный воспоминаниями. Здесь, в этом сыром, старое ньком остроге, прошли его юношеские годы. Терехин почувствовал нежность к кривой башенке с крохотными решетчатыми щелками. К этому примешивалась и гордость — мы разбили Бастилию, из застенков сделали неизбежный приют для дефективных детей общества. Взглянув на часы и подумав, что утро начнется уже безусловно не без опоздания, Терехин решительно постучал в тюремные ворота.

Начальника тюрьмы не было, а заменял его старший сторож Емельич, давний знакомый Терехина, немало пакостивший ему в свое время ночными обысками, ковырянием старой шашкой в тюфяке и даже залезаниями в рот — не припрятана ли там тайная записочка. Емельич ничуть не смутился, но наоборот, всячески старался проявить свое удовольствие по поводу неожиданного визита.

«Обозреть пожаловали? Так-то оно лучше, чем изнутри: т. е. при царе проклятом!.. Уж вы тогда мне высоким человеком казались, отменного поведения, я и брату говорил: «Арестант Терехин в люди выйдет». Проводить позволите?»

Но Терехину Емельич вовсе не нравился, глядя на эти молодцеватые усы, вспоминалось больше нехорошее, и, показав для порядка свой мандат, он сказал, что пройдет в камеры один.

Здесь надобно перейти от титанических видений Терехина к мелким страстишкам Емельича. Не пил человек, не курил, в карты никогда не играл, но зато был падок до баб, одно слово — бык! Если собрать всех девок, попорченных им за жизнь, — целый го-

род получится. Никакие опасности остановить его не могли. В деревне Пашевке парни избили его, прикрыв мешками, долго били, переломали ребро, после чего он и пошел в тюремные сторожа, потеряв, по его словам, к иным должностям телесные возможности. Три года тому назад, прельщенный арестанткой Фенькой, перевел он ее для удобства из тюрьмы к себе на квартиру, Фенька, случая не теряя, сбежала, и Емельича не только уволили, но и посадили под замок. Впрочем, пришла скоро революция, Емельича выпустили, и он, не смущаясь, причислил и себя, и Феньку к политическим, после чего был восстановлен в своих прежних правах. Теперь Емельич был одержим жаждой смягчить сердце молодой наездницы одесского государственного передвижного цирка Дуни Левченко, или по афише Леонеллы. Он знал безусловно, что не устоит Леонелла перед усами, перед умением многоопытным и стишок повторить, и вовремя ткнуть в бок, перед неописуемым жаром дыхания. «Издали защекочу»,— ухмылялся он. Но на беду ходил с Леонеллой повсюду, ни на шаг не отступая, бывший боксер, а теперь «инструктор по физическому воспитанию», некто Чуб, с весьма недвусмысленными кулачищами. Тщетно две недели караулил Емельич, не пройдет ли Леонелла одна. И вот теперь, пропустив Терехина, выйдя за ворота проветриться, увидал он наездницу, которая покупала у бабы на углу Коровьего проулка моченое яблоко. Быстро передав ключи младшему сторожу Бугачеву, Емельич кинулся вдогонку, и далее пошло сплошное подтверждение всех бахвальств неотразимого усача. На срам Чубу наездница была увлечена в каморку Емельича. Будучи по счету не сотой, а тысячной, Леонелла оказалась самой необыкновенной женщиной, которую встретил на своем веку Емельич, недаром побывала она не только в Одессе, но даже в Бухаресте. Мог ли он, глядя на ее жаркие плечи, думать о каком-то Терехине? Только в понедельник, далеко за полдень, когда Леонелла решительно заявила, что пора ей, честной труженице, вернуться к лошадям (о Чубе же, хоть был он и главным обстоятельством, благоразумно умолчав), Емельич выполз нечесаный, оголтелый на улицу и там сразу узнал о потрясающих событиях.

Но все это было в понедельник, а в субботу Терехин, отклонив услуги Емельича, пошел по темному, пахнущему парашей коридорчику. Прежде всего заглянул он в камеру уголовных. Посреди сидел рыжий детина в одних портках, медленно, деловито похрустывая вошками, густо изукрасившими нежным серебристым бисером его волосатую грудь. Позади двое, очень юрких, скорей всего форточники, содружно плевались, истошно напевая: «Мы из Вязьмы два громилы и в тюрьме недавно были...» Еще ругался кто-то так, как ругаться могут люди только свободные, досугами располагающие, т. е. громоздя на бабку прабабку. Хоть картина эта Терехину, прошедшему через Бутырки, Лукьяновку, Самарскую и многие иные места, была знакома, он удивился, ибо давно уж о тюрьмах думал не по воспоминаниям, а по статье в «Вестнике Наркомюста», очень хорошей статье, с мастерскими игрушек, концертами и даже древонасаждением.

«Вы, товарищи, довольны ли Советской властью?» — спросил от растерянности Терехин, сам понимая, что глупый вопрос, никчемный, лучше б записать злоупотребления и в Рабкрин сегодня же послать, но так вышло. Прямого ответа не последовало, только детина, не выпуская из-под пальца очередной жертвы, громко, раздельно сказал:

«Власть!»

Но в укор ли, в хвалу ли, или просто, чтоб сказать слово, так никто и не понял. Зато форточник, прошмыгнув вперед, пропел тоненько: «Товарищ, разрешите папиросочку попросить», и, сжимая добычу: «Ява»-с. Первый деликатес!»

От всего этого стало Терехину неприятно, захотелось уйти поскорее, сидеть в школе и слушать, как поют дети, звончатые, веселые: «Это есть наш последний...» Он постоял еще в нерешительности на пороге «политической», но не вошел. Сколько трогательного связано с этой паскудной норой — здесь борцы сидели неунывающие, будильщики, и теперь увидать на знакомых нарах жандармов юлящих, палачей, трусов, убоявшихся великих свершений. Нет! Терехин прошел мимо и громко, нетерпеливо постучал в дверь, выходившую в сборную возле конторы (тюрьма в нашем городе древняя, почти историческая, но уж без всякого комфорта и устройства примитивного). На стук к волчку подошел Бугачев, дремавший мирно на диванчике в конторе:

«Чаво шумишь?»

Терехин пояснил вежливо:

«Товарищ, откройте дверь, я кончил осмотр камеры!»

«Ты что, сукин внук, буйствовать?.. «Кончил!» Вот я те кончу, живо харю разузорю!»

«Как вы смеете, я не арестант, я председатель исполкома».

«Знаем вас, халуев, стримулятор ты, вот что!»

Последнее определение было, очевидно, бугачевским откликом на подслушанное им как-то от тюремного врача интересное словечко «симулирует».

«У нас один зимой, хайло мавританское, Господом Богом себя объявил, громы испускал, хотели его в лечебницу свести, ну я живо без дохтуров вылечил!»

«Вот мандат с печатью».

«Ах ты, хлюст паршивый, я те за такие слова всю твою карточку припечатаю», и, показав в окошечко свой кулак, веса доброго, Бугачев пошел досыпать на диванчик.

Ужасно обидно, весь день пропадает, в два исполком, подумал Терехин, ну да к вечеру этот Емельич вернется на смену, или в городе хватятся. Пока что надо ждать. И, поглядывая на мокрый коридорчик, где и присесть негде было, Терехин, скорей по привычке, поплелся в политическую, вошел, не здороваясь ни с кем, и мрачно сел на свободный краешек нар.

В раздражении он не глядел на заключенных. Слышно было шушуканье: «Новенький!» Потом подошел к нему мальчишка в косоворотке и с достоинством спросил: «Товарищ, вы партийный?» Терехин кратко пробурчал «да», а мальчишка представился: «Беспартийный анархист, отрицаю цепи. Арестован за то, что в общественном саду не встал при исполнении интернационала и публично прямо сказал: «Выше всего свободная личность!» Статья 129-я, пронеслось в голове Терехина.

За мальчишкой другие похрабрели — старикан бородатый ласково Терехина потеребил за ворот и ткнул в миску с холодной баландой:

«Похлебайте, миленький, натощак оно совсем неутешительно».

«Да, да, питаться необходимо»,— как-то машинально ответил Терехин и стал честно глотать помоистую бурду, а старик в это время, пользуясь оказией, в сотый раз жаловался:

«Какой я преступник? Посудите сами, всю жизнь в повиновении пребываю. На именинах кума Чижина, столяр-белодеревец, не слышали? Распили мы бутыль ханжи, вот и поддался, оглупел до неуважительности. Побрел домой, а утречком очухался, смотрю — батюшки, где я? По воровскому в милиции! Ты, говорят, преступник, ночью на Главной улице кричал: «За тормашки Ленина вашего стащу» и прочее неповторяемое. Ну, какой же я преступник, в таком злоключении, т. е. от ханжи этой треклятой, долго ли обмолвиться?»

И снова Терехину вспомнилось: «оскорбление величества... статья 103-я...» И потянулись мысли по этой дорожке — у писаря веснушчатого нашли прокламацию «возрожденцев» каких-то, за хранение, значит, статья легкая, 132-я... Так вошел Терехин в этот быт привычный, что даже задумался, по какой же он сам статье сидит? Но от этих вздорных раздумий был отвлечен ласковым возгласом:

«Товарищ Валентин, вы-то какими судьбами? Неужто раскрамольничались?»

Рядом стоял давнишний приятель, спорщик неуемный, товарищ Игорь (или Исаак Львович Зильберман), закоренелый меньшевик, сиживавший не раз вместе с Терехиным. Нескрыто обрадовался Терехин, но и смутился, сам не зная почему, очень хотелось ему ответить, что он тоже плотно засел, по солидной статье, 102-й, что ли, но соврать не мог и виновато пробормотал:

«Я по недосмотру!»

Сразу стали поминать старое — годы «объединенной», как в предсъездовских дискуссиях грызлись дружески (Терехин с Урала большущий мандат раздобыл, а Зильберман промышлял все больше печатниками), как бегали по проходным дворам, устраивали в чайных «явки», глотали папиросные бумажки с адресами («связи»), как в Лукьяновке их обоих избил до крови надзиратель, а потом швырнули в карцер, где по ночам шныряли жирнющие крысы и залезали в ухо мерзкие мокрицы, как мечтали они оба — скоро, скоро, кончится все это, будет поиному, как, толком не расскажешь, даже понять не поймешь, но совсем по-иному... Обо всем поговорили, даже квартирную хозяйку Бравэ, спрятавшую Терехина во время обыска в узел с бельем, вспомнили, потом сразу замолчали. Зильберман думал о том, что все это почему-то, по случайности какой-то, по недомыслию вот таких Терехиных, близких, своих, не стало иным, а осталось прежним, с прежним пакостником Емельичем, шмыгающим по миру, с той же огромной парашей посреди всего. А Терехин просто болел глубокой, человеческой болью, которая начинается с шишки дитяти, захотевшего перелезть через забор, а кончается отчаянным предсмертным брюзжанием, когда кто-то невольно кладет на одну чашечку весов пятьдесят прожитых без толку лет, а на другую задорные вымыслы, диковинную веру молоденького паренька, не умеющего еще горбиться, припадать к земле и честно, безо всяких мудрствований плакать.

Снова заговорили, даже заспорили, Зильберман не менее Терехина умел закручивать саженные «принимая во внимание» и, обрадовавшись возможности, начал подводить под всяческие ошибки, под декреты, даже под Емельича некие «базы» с придаточными, скобками и выразительными «мы предупреждали». Терехин ясно понимал, что Зильберман несет чушь, что не в «учредилке» здесь дело и легко бы мог, как некогда, крепкими ядрами диалектики разбить все эффектные пирамиды соглашателей. Но вместо этого он маловыразительно мычал, предоставляя Зильберману переживать радость легкой победы. Как мог он спорить с ним, он, Терехин, в роли почти жандармского ротмистра, с добродетельным нелегальным, переживающим свой девятый или десятый «провал»?

Зильберман закончил эффектным напоминанием о прочности тюрем. Чувствуя себя уж арестантом, сразу войдя в привычный родной быт, Терехин оживился, расспрашивать стал, как сидится? по каким дням передачи? дают ли теперь книги из библиотеки, кроме замусоленного «Патерика»? шляется ли по ночам Емельич, решетки выстукивая и галстухи «по любви ко твари грешной» у особенно мрачных на всякий случай отбирая? С толком, входя в суть даже детали мельчайшей, отвечал на вопросы Зильберман: все по-прежнему, даже «Патерик» изъять позабыли, ни зверств каких-нибудь романтических, ни древонасаждений, тихо, мирно, тюрьма как тюрьма.

Вечер подошел. Уголовные притащили парашу и чан с кипятком. За неимением чая кинули яблоки сушеные, попили, залегли, голова к ногам в ряд. Прародителей помянув, Бугачев запер камеру. Пошло сначала тонкое, редкое посапывание, потом густой, ровный, как бы спевшихся, храп. Только Терехин не спал, и виной сему были не облепившие его вши, не крепкий парашин дух, но совершенно ему несвойственные, неприличные даже мысли. Речи товарища Игоря его не поколебали, что ж меньшевику делать, если не причитать «а мы предупреждали»? Нет, не в этом дело, не в программах, не в тактике, не в резолюциях! Терехин тщился разрешить непосильный вопрос, в самую утробу залезть, допытаться, как же это так все устроено, помимо царей, меньшевиков и большевиков, что был Емельич, есть и, видно, во веки веков будет, ну подучится, усы сбреет, не будет пропадать, мошенник, среди бела дня, а все-таки Емельичем останется. Что это за паскудная болезнь, взрежешь только нарыв на голове, выскочит где-нибудь пониже. В чем же самая суть, последнее зло, чтоб ни жандарм его, Терехина, ни он жандарма ни в какие вшивые (так и ходят) закоулки не кидал бы? Хорошо этому Зильберману, он и тогда, и теперь сидит, а вот ты оставь «принимая во внимание», начни сам сажать! Думал Терехин, но ничего, кроме белиберды, выдумать не мог.

Думал он и весь следующий день, старательно обходя дискуссии с Зильберманом, который все боялся не упомянуть о некоторых самых важных доводах, отмеченных на последней областной конференции. Своей судьбой он совершенно не интересовался, и хоть Бугачева сменил Кривич, добряк редкий, не сделал никаких попыток свое положение разъяснить и выйти из тюрьмы.

Снова пришла трудная ночь, с теми же срочными, но невозможными томленьями. Под утро что-то пере-

Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

ломилось внутри Терехина — надорвалась душа или просто не в меру устал человек, но сдался он, от дерзости розысков самой сути отступил. Понял одно, что зла ему не одолеть и мира (да, да, не семью, не городок наш, не Россию, уж если не себя, то обязательно мир) не спасти. Тогда он удерет, «сдрейфит», как самый мелкий меньшевик, откровенно, не стыдясь даже. Да! Не хочет он строить дома — прекрасный, светлый, лучше всех домов, что строили люди,— ибо будет в нем одна комнатка, пусть самая маленькая, но будет же — для нового Емельича. Лучше здесь сидеть, ниспровергать, протестовать, много легче, спокойней. Даже от одной мысли этой охватил Терехина такой покой, что, пристроив голову свою к колючим коленкам куцего Зильбермана, он уснул, спал долго, проспав утренний кипяток, вынос параши, баланду, и проснулся только от робкого, но беспрестанного шепота Емельича: «Товарищ председатель, простите великодушно, девочка у меня при смерти, не мог отлучиться».

Увидя, как грозный Емельич лебезит перед новеньким, старик, сидевший за «оскорбление», кинулся тоже к нему и стал умолять старость пощадить, «явить Божескую!»

Со сна не сразу очухался Терехин от этих жалоб и извинений льстивых, а сообразив, что больше не спит, и страшная минута, которую ждал он в трепете две ночи, наступила, мягко, но с твердостью безусловной сказал Емельичу:

«Я никуда не пойду, но останусь здесь!»

«Как же это возможно? простите вину мою! Девочка отходит, уж, дух испускает,— ослабел я. Вас ищут-то — весь город всполошили, к исполнению обязанностей не дождутся».

Озлился Терехин от сладости елейной, не сдержался:

«Иди к черту! Я никуда не вылезу отсюда! Я не председатель больше, заговорщик, вот как! Ниспровергать хочу!»

Хоть и сознавал свое преступление Емельич, знал, не погладят по головке, но делать было нечего, явно Терехин или задумал против него страшные козни, или с перепугу рехнулся, побежал бедняга в «чеку», да сразу сообразил, по важности, все четыре простых минуя, в «ОО». А полчаса спустя заведующий «ОО» лично явился в камеру. Но Терехин, не признавая ни партийной дисциплины, ни дружбы давней, стоял на своем: идти на волю не хочу и с особенной любовностью повторял «ниспровергаю». Тогда на радость всей белогвардейской банды часовые вежливо, но крепко под руки подхватили Терехина, вывели и усадили в крытый автомобиль.

«Товарищ Валентин переутомился от работы последних месяцев, четыре кампании и еще эти выборы на съезд»,— сказал заведующий «ОО», «мы его отвезем в Дом Отдыха».

Что ж, справедливость восторжествовала! Дорого обошлась Леонелла Емельичу, отплевываясь злобно, вспоминал он ее телеса в «чека», ожидая грозного допроса.

Выпустили к вечеру всех заложников, и взвыла дьячиха, увидав в окне незабвенную косичку:

«Святители Преблагие! Отец Иона или привидение дьявольское?» — ибо была убеждена, что от этих «извергов» никто живым не выходит, даже панихиду заказала за упокой души.

Недели две только и было разговоров в городе, в учреждениях, в очередях, на всяком крылечке, что о пропаже диковинной, о террористе Емельиче и о покаявшемся грешнике Терехине. Сколько легенд развели!

Емельич, видите ли, был подкуплен румынами или японцами в предвидении десанта (а от нашего города до моря, ох, как далеко!). Даже не только Емельича, через Леонеллу самого Чуба, который от ревности и срама больным прикидывался, тоже пристегнули. Терехин, оказывается, хотел себя диктатором объявить и «порядок подлинный» завести. Сбежал он и теперь с повстанцами идет наш город осаждать. Все это, разумеется, чистейший вздор. Сидит Терехин в лечебнице, бывшей Фекельштейна, сидит тихонько, бежать никуда не пытается, только каждое утро, проснувшись, высовывается из окошка и кричит на петуший манер: «Ниспровергаю!»

Теперь надоело всем, бросили, а нового ничего не приключается. Вот, может быть, к первому маю и вправду «излишки» отбирать будут или амнистию, что ли, объявят, все-таки разнообразие, а то со скуки и умереть легко...

РАССТРЕЛ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Начало см. на стр. 4.

лись по лестнице, вошли во двор, а оттуда через вторую дверь в помещение нижнего этажа. Привели их в угловую комнату, смежную с опечатанной кладовой. Юровский велел принести стулья.

Государыня села у той стены, где окно ближе к заднему столбу арки. За нею встали три дочери. Государь сел в центре, рядом наследник, за ним встал доктор Боткин. Служанка — высокого роста женщина, встала у левого косяка двери, ведущей в кладовую. С ней встала одна из дочерей. У служанки была в руках подушка. Маленькие подушечки были принесены царскими дочерьми, одну положили на сиденье наследника, другую — государыне. Одновременно в ту же комнату вошли одиннадцать человек: Юровский, его помощник Никулин, двое из ЧК и семь «латышей». Юровский сказал: «Сходи на улицу, посмотри, нет ли там кого и не будут ли слышны выстрелы»,— я вышел во двор и услышал выстрелы. Когда же вернулся в дом, прошло две, три минуты и, зайдя в ту же комнату, увидел, что все члены царской семьи лежат на полу с многочисленными ранами на телах. Кровь текла потоками. При моем появлении наследник был еще жив — стонал. К нему подошел Юровский и два или три раза выстрелил в него в упор. Наследник затих. Картина вызвала во мне тошноту. Перед убийством Юровский роздал всем наганы. У Юровского, кроме своего револьвера, был маузер. По окончании Юровский послал меня в команду за людьми, чтобы смыть кровь в комнате. Трупы выносили на носилках, сделанных из простынь, натянутых на оглобли, взятые от стоящих во дворе саней. Шофером был злоказовский рабочий — Петр Люханов. Кровь в комнате и во дворе замыли. В три ночи все было кончено. Юровский ушел в свою канцелярию, а я к себе в команду. Проснулся часу в девятом утра и пришел в комендантскую комнату. На всех бывших в комендантской комнате столах были разложены груды золотых и серебряных вещей. Тут же лежали драгоценности, отобранные у царской семьи перед расстрелом, и бывшие на них золотые вещи.

Обходя комнаты, я в одной из них под книжкой «Закон Божий» нашел шесть десятирублевых кредитных билетов и деньги эти взял себе, взял также несколько серебряных колец и кое-какие безделушки. Утром 18-го ко мне приехала жена, и я с нею уехал в Сысертский завод раздать деньги семьям служивших в команде. Вернулся 21-го в Екатеринбург, когда караул уже был снят. В Перми комиссар Голощекин назначил меня в охрану для взрыва моста. Я не успел да и не хотел это сделать, решив добровольно сдаться».

«Жена Павла Медведева: "По словам Павла... Все разбуженные встали, умылись, оделись и были сведены на нижний этаж, где их поместили в одну комнату. Здесь вычитали им бумагу, в которой было сказано: "Революция погибает, погибнете и вы". После этого начали стрелять, и всех до одного убили. Стрелял и мой муж. Стрелявших было 12 человек. Стреляли не из ружей, а из револьверов, так объяснил мне мой муж. Убитых увезли далеко в лес и бросили в ямы какие-то. Рассказывал мне мой муж все это совершенно спокойно. За последнее время он стал непослушный, никого не признавал и как будто бы семью свою перестал жалеть».

А вот показания другого охранника: «Клещев с Дерябиным рассказали нам следующее: к ним на посты приходили Медведев с Добрыниным и предупредили, что в эту ночь будут расстреливать царя. Получив такое известие, они подошли к окнам. Клещев к окну прихожей нижнего этажа, окно это, обращенное в сад, находится как раз против окна, где было убийство. Дерябин встал к другому окну. В скором времени в комнату со двора вошли люди. Впереди Юровский и Никулин[3], за ними государь, государыня и дочери, а также Боткин, Демидова, Трупп, повар Харитонов. Наследника нес Николай. Сзади шли Медведев и латыши, которые были выписаны Юровским из чрезвычайки, они разместились так: в комнате справа от входа находился Юровский, слева от него стоял Никулин, латыши стояли рядом к самой двери, сзади них стоял Медведев. Дерябин видел через окно часть фигуры и главным образом руку Юровского. Он видел, что Юровский говорит что-то, маша рукой. Что именно он говорил, Дерябин не мог передать. Он говорил, что ему не слышно было слов. Клещев же положительно утверждал, что слова Юровского он слышал: «Николай Александрович, Ваши родственники старались Вас спасти, но этого им не пришлось, и мы принуждены Вас сами расстрелять». Тут же за словами Юровского раздалось несколько выстрелов... Вслед за выстрелами раздался женский визг, крики и несколько женских голосов. Расстреливаемые стали падать один за другим: первым пал царь, за ним наследник... Демидова металась... закрывалась подушкой. Была ли она ранена или нет пулями? Но, по их словам, была она приколота штыками... Когда они все лежали, их стали осматривать, некоторых из них дострелить и докалывать... Но из лиц царской фамилии, я помню,— называли только Анастасию, приколотую штыками. Когда все лежали, кто-то принес, надо думать, из верхних комнат — несколько простынь. Убитых стали заворачивать в них и выносить в грузовой автомобиль. В автомобиль положили сукно из кладовой, на него трупы, и сверху накрыли тем же сукном...»

Итак, после тщательного следствия, Соколов предположил, что в ночь с 16-го на 17-е в полуподвальной комнате Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны: бывший царь Николай Романов, бывшая царица Александра Федоровна и их дети: Алексей, Татьяна, Ольга, Анастасия, Мария, а также доктор Боткин и прислуживавшие семье повар Харитонов, лакей Трупп и комнатная девушка Демидова. Трупы казненных были вывезены за город в район заброшенных шахт, раздеты, облиты бензином и соляной кислотой и сожжены...

[3] Г. Никулин — заместитель коменданта Ипатьевского дома.

Сразу после ее опубликования версия Соколова вызвала неудовлетворение. Некоторые эксперты возражали: невозможно бесследно сжечь тела 11 человек. Были и другие многочисленные версии — все о чудесном спасении Анастасии и прочих членов семьи, послужившие основой множества западных книг и даже кинофильмов.

Теперь, пожалуй, со всеми этими версиями покончено...

«Дело о семье бывшего царя Николая второго» закрывает навсегда все догадки и споры, ибо «Дело» заканчивается той самой «Запиской» — несколькими страничками машинописного текста — рассказом главного участника событий Я. Юровского.

Итак, «Записка» (ЦГАОР, ф. 601, опись №2, ед. хр. 35, лл. 31—34). Текст приводится по документу, сохраняя все его сокращения и стилистику. (В документе, например, Юровский именуется «ком.» — комендант.)

«16.7 была получена телеграмма из Перми на условном языке, содержащая приказ об истреблении Р-ых <Романовых> [Слева на полях надпись рукой: «Николая сначала (в мае) предполагалось судить — этому помешало наступление белых»].

16-го в шесть часов вечера Филип Г-н <Голощекин> предписал привести приказ в исполнение. В 12 часов должна была приехать машина для отвоза трупов.

В шесть часов увезли мальчика[4]..., что очень обеспокоило Р-ых и их людей. Приходил д-р Боткин спросить, чем это вызвано? Было объяснено, что дядя мальчика, который был арестован, потом бежал, теперь опять вернулся и хочет увидеть племянника. Мальчик на след<ующий> день был отправлен на родину (кажется, в Тульскую губернию). Грузовик в 12 часов не пришел, пришел только в 1/2 второго. Это отсрочило приведение приказа в исполнение. Тем временем были сделаны все приготовления, отобрано 12 человек (в т. ч. семь [исправлено на «шесть» чернилами] латышей) с наганами, которые должны были привести приговор в исполнение. 2 из латышей отказались стрелять в девиц.

Когда приехал автомобиль, все спали. Разбудили Боткина, а он всех остальных. Объяснение было дано такое: «Ввиду того, что в городе неспокойно, необходимо перевести семью Р-ых из верхнего этажа в нижний». Одевались 1/2 часа. Внизу была выбрана комната с деревянной оштукатуренной перегородкой (чтоб избежать рикошетов), из нее была вынесена вся мебель. Команда была наготове в соседней комнате. Р-вы ни о чем не догадывались. Ком.[5] отправился за ними лично один и свел их по лестнице в нижнюю комнату. Ник.<олай> нес на руках А-я[6], остальные несли с собой подушечки и разные мелкие вещи. Войдя в пустую комнату, А.<лександра> Ф.<едоровна> спросила: «Что же, и стула нет? Разве и сесть нельзя?» Ком. велел внести два стула. Ник. посадил на один А-я, на другой села А. Ф. Остальным ком. велел встать в ряд. Когда стали — позвали команду. Когда вошла команда, ком. сказал Р-ым, что ввиду того, что их родственники в Европе продолжают наступление на Советскую Россию, Уралисполком постановил их расстрелять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье, потом как бы опомнившись, обернулся к ком. с вопросом: «Что? Что?» Ком. наскоро повторил и приказал команде готовиться. Команде заранее было указано, кому в кого стрелять, и приказано целить прямо в сердце, чтоб избежать большого количества крови и покончить скорее. Николай больше ничего не произнес, опять обернувшись к семье, другие произнесли несколько несвязных восклицаний, все это длилось несколько секунд. Затем началась стрельба, продолжавшаяся две-три минуты. Ник. был убит самим ком-ом наповал. Затем сразу же умерли А. Ф. и люди Р-ых (всего было расстреляно 12 человек): Н-й, А. Ф., 4 дочери — Татьяна, Ольга, Мария и Анастасия, д-р Боткин, лакей Труп, повар Тихомиров[7], еще повар[8] и фрейлина, фамилию которой ком. забыл[9].

А-й, три из его сестер, фрейлина и Боткин были еще живы. Их пришлось пристреливать. Это удивило ком-та, т. к. целили прямо в сердце. Удивительно было и то, что пули от наганов отскакивали от чего-то рикошетом и как град прыгали по комнате. Когда одну из девиц пытались доколоть штыком, то штык не мог пробить корсаж. Благодаря этому вся процедура, считая проверку (щупанье пульса и т. д.), взяла минут двадцать. Потом стали выносить трупы и укладывать в автомобиль, выстлан<ный> сукном, чтоб не протекла кровь. Тут начались кражи: пришлось поставить трех надежных товарищей для охраны трупов, пока продолжалась переноска (трупы выносили по одному). Под угрозой расстрела все похищенное было возвращено (золотые часы, портсигар с бриллиантами и т. д.). Ком-ту было поручено только привести в исполнение приговор, удаление трупов и перевозка лежала на обязанности тов. Ермакова (рабочий Верхне-Исетского завода, партийный товарищ, б<ывший> каторжанин). Он был должен приехать с автомобилем и был впущен по условному паролю «трубочист». Опоздание автомобиля внушило коменданту сомнения в аккуратности Ермакова, и ком. решил проверить сам всю операцию до конца. Около трех часов выехали на место, к-е <которое> должен был приготовить Ермаков за Верхне-Исетским заводом. Сначала предполагалось везти на автомобиле, а после

[4] Поваренка Л. Седнева.
[5] Комендант.
[6] Алексея.

[7] Повар Харитонов.
[8] Ошибка — на самом деле поваренка Седнева, как он сам писал, пощадили: отсюда у него получилось 12 человек.
[9] Имеется в виду Демидова, комнатная девушка царицы.

Николай II во время прогулки под арестом.

известного места на лошадях (т. к. автомобиль дальше проехать не мог, местом выбранным была брошенная шахта). Проехав Верхне-Исетский завод в верстах 5, наткнулись на целый табор — человек 25 верховых, в пролетках и т. д. Это были рабочие (члены Совета, исполкома и т. д.), к-ых приготовил Ермаков. Первое, что они закричали: «Что ж вы нам их неживыми привезли?!» Они думали, что казнь Романовых будет поручена им. Начали перегружать трупы на пролетки, тогда как нужны были телеги. Это было очень неудобно. Сейчас же начали очищать карманы — пришлось и тут пригрозить расстрелом и поставить часовых. Тут и обнаружилось, что на Татьяне, Ольге, Анастасии были надеты какие-то особые корсеты. Решено было раздеть трупы догола, но не здесь, а на месте погребения. Но выяснилось, что никто не знает, где намеченная для этого шахта. Светало. Ком. послал верховых разыскивать место, но никто ничего не нашел. Выяснилось, что вообще ничего приготовлено не было: не было лопат и т. д. Так как машина застряла между двух деревьев, то ее бросили и двинулись поездом на пролетках, закрыв трупы сукном. Отвезли от Екатеринбурга на шестнадцать с половиной верст и остановились в полутора верстах от деревни Коптяки. Это было в 6—7 утра. В лесу отыскали заброшенную старательскую шахту (добывали когда-то золото) глубиной три с 1/2 аршина. В шахте было на аршин воды. Ком. распорядился раздеть трупы и разложить костер, чтоб все сжечь. Кругом были расставлены верховые, чтоб отгонять всех проезжающих. Когда стали раздевать одну из девиц, увидели корсет, местами разорванный пулями,— в отверстии видны были бриллианты. У публики явно разгорелись глаза. Ком. решил сейчас же распустить всю артель, оставив на охране нескольких человек часовых и 5 человек команды. Остальные разъехались. Команда приступила к раздеванию и сжиганию. На А. Ф. оказался целый жемчужный пояс, сделанный из нескольких ожерелий, зашитых в полотно [вставка на полях: «На шее у каждой из девиц оказался портрет Распутина с текстом его молитвы, зашитые в ладанки»]. Бриллианты тут же переписывались, их набралось около полупуда. Это было похоронено на Алапаевском заводе в одном из домиков в подполье. В 19-м году откопано и привезено в Москву. Сложив все ценное в сумки, остальное найденное на трупах сожгли, а сами трупы опустили в шахту. При этом кое-что из ценных вещей (чья-то брошь, вставная челюсть Боткина) было обронено, а при попытке завалить шахту при помощи ручных гранат, очевидно, трупы были повреждены и от них оторваны некоторые части — этим ком. объясняет нахождение на этом месте белыми (к-рые потом его открыли) оторванного пальца и т. д. Но Р-ых не предполагалось оставлять здесь — шахта заранее была предназначена стать лишь временным местом их погребения. Кончив операцию и оставив охрану, ком. часов в 10—11 утра (17 уже июля) поехал с докладом в Уралисполком, где нашел Сафарова [10] и Белобородова. Ком. рассказал, что найдено, и выразил сожаление, что ему не позволили в свое время произвести у Р-ых обыск. От Чуцкаева (пред. горисполкома) ком. узнал, что на 9-й версте по Московскому тракту имеются очень глубокие шахты, подходящие для погребения Р-ых. Ком. отправился туда, но до места не сразу доехал из-за поломки машины. Добрался до шахт уже пешком, нашел действительно три шахты, очень глубокие, заполненных водою, где и решил утопить трупы, привязав к ним камни. Так как там были сторожа, являвшиеся неудобными свидетелями, то решено было, что одновременно с грузовиком, который привезет трупы, придет автомобиль с чекистами, который под предлогом обыска арестует всю публику. Обратно ком. пришлось добираться на случайно захваченной по дороге паре.

Задержавшие случайности продолжались и дальше. Отправившись с одним из чекистов на место верхом, чтобы организовать все дело, ком-т упал с лошади и сильно расшибся (а после также упал и чекист). На случай, если бы не удался план с шахтами, решено было трупы сжечь или похоронить в глинистых ямах, наполненных водой, предварительно обезобразив трупы до неузнаваемости серной кислотой.

Вернувшись, наконец, в город уже к 8 часам вечера (17), начали добывать все необходимое — керосин, серную кислоту. Телеги с лошадьми без кучеров были взяты из тюрьмы. Рассчитывали выехать в 11 вечера, но инцидент с чекистом задержал, и к шахте с веревками, чтобы вытаскивать трупы и т. д., отправились только в двенадцать с половиной ночью с 17 на 18-е. Чтоб изолировать шахты (первую старательскую) на время операции, объявили в деревне Коптяки, что в лесу скрываются чехи, лес будут обыскивать, чтоб никто из деревни не выезжал ни под каким видом. Было приказано, если кто ворвется в район оцепления, расстрелять на месте. Между тем рассвело (это был уже третий день, 18-го). Возникла мысль: часть трупов похоронить тут же у шахты. Стали копать яму, почти выкопали, но тут

[10] Товарищ Председателя Совета.

к Ермакову подъехал его знакомый крестьянин, и выяснилось, что он мог видеть яму.

Пришлось бросить дело. Решено было везти трупы на глубокие шахты. Так как телеги оказались непрочными, разваливались, ком-т отправился в город за машинами — грузовик и две легких, одна для чекистов... Смогли отправиться в путь только в 9 вечера, пересекли линию ж. д. в полуверсте, перегрузили трупы на грузовик. Ехали с трудом, вымащивая опасные места шпалами, и все-таки застревали несколько раз. Около четырех с половиной утра 19-го машина застряла окончательно. Оставалось, не доезжая шахт, хоронить или жечь. Последнее обещал на себя взять один товарищ, фамилию ком. забыл, но он уехал, не исполнив обещания. Хотели сжечь А-я и А. Ф., но по ошибке вместо последней с А-ем сожгли фрейлину. Потом похоронили тут же под костром останки и снова разложили костер, что совершенно закрыло следы копанья. Тем временем вырыли братскую могилу для остальных. Часам к семи утра яма аршина в два с половиной глубины и три с половиной в квадрате была готова. Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела серной кислотой, как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения (яма была неглубока). Забросав землей и хворостом, сверху наложили шпалы и несколько раз проехали — следов ямы и здесь не осталось. Секрет был сохранен вполне — этого места погребения белые не нашли».

После этого, в самом конце документа — запись от руки: в ней указано точное место, где сокрыты останки Романовых и всех погибших с ними...

...Ровно через 20 лет после расстрела в Екатеринбурге, в таком же июле, но уже страшного 38-го года, в Кремлевской больнице в Москве Юровский умирал от язвенной болезни...

Перед смертью с последним письмом [11] он обратился из больницы к своим детям. Вспоминал ли он при этом — через 20 лет — о других детях из той, далекой июльской ночи?.. Вспоминал ли он и о всех тех, кто был рядом с ним в Революции и назывался теперь «врагом народа»? Или фанатизм позволял ему не думать об этом?

Во всяком случае, в том, что опубликовано, ни слова о страшном прошлом и настоящем. Но зато, как всегда, даже в эти минуты, он думал о светлом будущем.

«Хотя я смертельно устал от моих болезней, мне все еще кажется, что вместе с вами я буду участвовать в будущих грядущих событиях».

Вспоминали ли другие участники ту ночь? Вспоминали. С поразительным сознанием хорошо исполненного долга. Вот воспоминание В. Воробьева, тогдашнего редактора «Уральского рабочего», члена президиума исполкома Совета, одного из тех, кто принимал решение о казни Романовых...

В 1928 г., к десятилетию казни (были и такие юбилеи), он напечатал свои воспоминания... Вот как пишет редактор газеты, рожденный в стране, где недавно властителями дум были Толстой и Достоевский, о расстреле 11 человек.

«...Когда стало очевидным — Екатеринбург нам не удержать — вопрос о судьбе царской семьи был поставлен ребром. Увозить бывшего царя было некуда, да и везти его было далеко не безопасно. И на одном из заседаний Облсовета мы решили Романовых расстрелять, не ожидая суда над ними. В ночь на 17 июля всех заключенных дома особого назначения подняли с постелей, приказали им одеться, собрали их в одну маленькую комнату полуподвального этажа, объявили им там о решении облсовета, и, прежде чем они успели что-либо сказать, пули красногвардейских наганов оборвали жизнь коронованного разбойника и тех, кто ему был близок. На следующий день утром я получил в президиуме облсовета для газеты текст официального сообщения о расстреле Романовых.

— Никому пока не показывай,— сказали мне,— необходимо согласовать текст сообщения о расстреле с центром...

Я был обескуражен: кто был когда-либо газетным работником, тот поймет, как мне хотелось немедленно, не откладывая, козырнуть в своей газете такой редкой сенсационной новостью — не каждый день случаются такие события, как казнь царя...

Я поминутно звонил по телефону — узнавал, не получено ли уже согласие Москвы на опубликование... Терпению моему суждено было подвергнуться тягчайшему испытанию. Лишь на другой день, то есть 18 июля, удалось добиться к прямому проводу Свердлова. На телеграф для переговоров с ним поехали Белобородов и еще кто-то из членов президиума. Я не утерпел, поехал тоже... К аппарату сел сам комиссар телеграфа. Белобородов начал докладывать ему то, что надо было передать Москве. (А «надо» было передать в Москву ту ложь: что расстрелян лишь царь, а семья эвакуирована... Так родилось это слово «надо» — великое слово наступавшей эпохи.— **Э. Р.**)

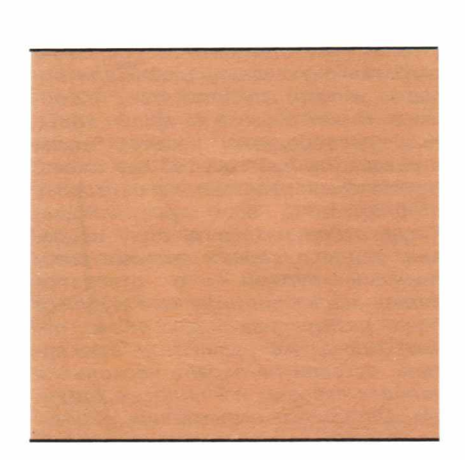
...Затаив дыхание, мы все качнулись к выползавшей из аппарата ленте, на которой точками и черточками замаскировались чеканные, почти металлические звуки свердловского голоса.

— Сегодня же доложу о вашем решении президиуму ВЦИКа. Нет сомнения, что оно будет одобрено... Извещение о расстреле должно будет последовать от центральной власти, до получения его от опубликования сообщения воздержитесь...

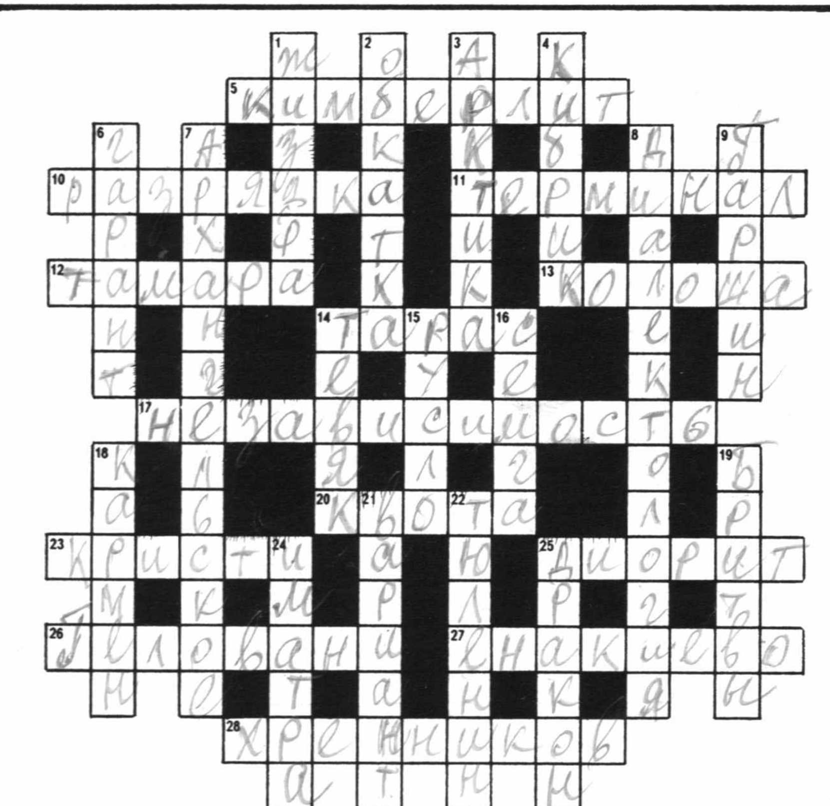
Мы вздохнули свободней, ВОПРОС О САМОУПРАВСТВЕ можно было считать исчерпанным...»

«Протокол номер 1 выписка из заседаний ВЦИКа от 18.8.1918. Слушали: сообщение о расстреле Николая Романова (телеграмма из Екатеринбурга).

Постановили: По обсуждении принимается следующая резолюция: ВЦИК в лице своего президиума признает решение облсовета правильным. Поручить тт. Свердлову, Сосновскому, Аванесову составить соответствующее извещение для печати. Опубликовать об имеющихся во ВЦИК документах (дневник, письма). Поручить т. Свердлову составить особую комиссию для разбора».



[11] Опубликовано в книге Я. Резник «Чекист». Свердловск, 1972.



КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Алмазоносная горная порода. 10. Отказ от использования силы, укрепление взаимного доверия в отношениях между странами с различными социально-политическими системами. 11. Оконечное устройство для ввода информации в вычислительную систему и вывода из нее. 12. Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 13. Порция шихтовых материалов, загружаемых в шахтную печь. 14. Герой оперы Д. Б. Кабалевского. 17. Самостоятельность, суверенитет. 20. Доля, часть, норма допускаемого. 23. Английская писательница, автор детективных романов, повестей. 25. Горная порода, строительный материал, декоративный камень. 26. Советский военачальник, маршал инженерных войск. 27. Город в Донецкой области. 28. Композитор, Герой Социалистического Труда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приток Оки. 2. Испытание железнодорожного состава, станков перед вводом в эксплуатацию. 3. Советский атомный ледокол. 4. График и живописец, народный художник СССР. 6. Поручатель, обеспечивающий выполнение обязательства. 7. Усадебный ансамбль близ Москвы, музей. 8. Раздел языкознания. 9. Русский писатель второй половины XIX века. 14. Серый тюлень. 15. Углубление в почве, по которому течет водный поток. 16. Ценная промысловая рыба семейства лососей. 18. Опера Ж. Бизе. 19. Басня И. А. Крылова. 21. Видоизменение, разновидность. 22. Один из руководителей «Молодой гвардии», Герой Советского Союза. 24. Водоскат на реке Вуокса в Финляндии. 25. Северное околополюсное созвездие.

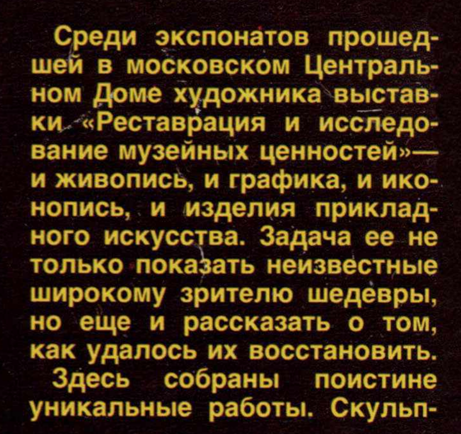
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Стопа. 9. Реквизит. 10. Вернисаж. 11. Ралли. 12. Чайка. 14. Диван. 17. Шопен. 20. Рицос. 21. «Жаворонок». 22. Опахало. 23. Шлемиль. 26. Лимонница. 27. Пачка. 29. Овчар. 30. «Антар». 33. Квача. 34. Евлах. 35. Помпадур. 36. Метроном. 37. Ибаге.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Астра. 2. Рояль. 3. Давид. 4. Шевцова. 5. Лиман. 7. Инвар. 8. Барсова. 12. Черепашка. 13. «Красавица». 15. Иноземцев. 16. Николаева. 18. Хоровод. 19. Поршень. 24. Глазков. 25. Стадион. 28. Ангар. 29. Очерк. 31. Рерих. 32. Алтай. 33. Кхмер.

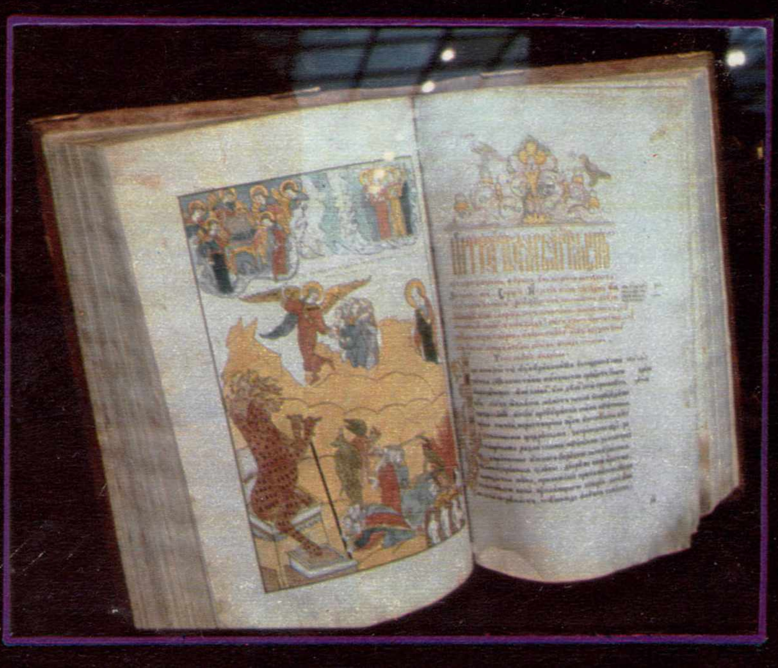
НЕТ ПРОБЛЕМ?

Рисунок А. ЧЕРВЯКОВА



Среди экспонатов прошедшей в московском Центральном Доме художника выставки «Реставрация и исследование музейных ценностей» — и живопись, и графика, и иконопись, и изделия прикладного искусства. Задача ее не только показать неизвестные широкому зрителю шедевры, но еще и рассказать о том, как удалось их восстановить.

Здесь собраны поистине уникальные работы. Скульп-



турная голова воина в шлеме (II—I века до нашей эры) из резиденции царя Парфии близ Ашхабада — неиссякаемого кладезя археологических находок. Иконы из рязанских музеев: Иоанн Предтеча (XVI век) и Параскева Пятница (XVII век). Рукописная псалтырь да еще со множеством иллюстраций. Полотно неизвестного художника итальянской школы «Мадонна с младенцем», относящееся к XVI веку. Поразительный по своему изяществу, тонкости ювелирной работы ларец Петра I, украшенный драгоценными камнями. Эти и еще многие другие шедевры вернулись к нам из небытия благодаря умелым рукам реставраторов.

Михаил САВИН,
фото автора

Индекс 70663